
KI 1297785
СЕРГЕЙ
ВИКУЛОВ
Избранное

Сергей Викулов

Избранное

Москва
Советский писатель
2000

Художник
МИХАИЛ ТИХОНОВ

Фотографии НИКОЛАЯ КОЧНЕВА,
а также — из личного архива автора

Викулов С. В.
В 43 Избранное. — М.: Советский писатель, 2000. — 220 с.

ISBN 5-265-06168-1

В книгу вошли лучшие стихи известного русского поэта Сергея Викулова, многие из которых уже полюбились читателям. Стихам С. Викулова присуще глубокое творческое осмысление духовно-патриотических начал народной жизни.

В $\frac{4702010202-17}{083(02)-2000}$ Без объявл. ББК 84 (2Рос-Рус)6

Немного о себе

Биография любого писателя интересна лишь в той мере, в какой она нашла отражение в его творчестве или повлияла на него. Помня об этом, в своей биографии отмечу сразу главное: родом из крестьян*.

Это предопределило мою творческую судьбу. Деревня, ее связанный с природой труд, ее радости и печали, будни и праздники, ее песни и сказки — а если выразить все это одним словом — ее душа стала для меня тем источником, из которого я пил всю жизнь. Деревня — причем на ее великом переломе!

В отличие от своих родителей, дедов и прадедов, я, деревенский малец, получил хотя и скудненькое, но образование: советская власть, впервые за всю историю России, усадила за парты всех крестьянских детей. Аттестат об окончании семилетней ШКМ (школы колхозной молодежи) давал право продолжить учебу в городах — в техникумах и ФЗУ. Мне повезло: я поступил в

*Родился 28 июня 1922 года в дер. Емельяновской, что в 20 км от древнейшего на русском Севере г. Белозерска Вологодской обл.

Белозерское педучилище и в 1940 году закончил его. Но и педучилище не стало последней ступенью в моем образовании. Осенью этого же года я стал курсантом Зенитно-артиллерийского училища в Севастополе. Начавшаяся война не дала закончить полный его курс. Уже в августе 1941 года я, тогда девятнадцатилетний, был досрочно выпущен из училища в звании лейтенанта и в начале декабря 1941 года в составе одной из уральских дивизий оказался на фронте, на участке, с которого немцы действительно просматривали Москву в бинокль.

Еще раз подчеркну: если бы мое образование ограничилось тремя классами ЦПШ (так в шутку называли церковно-приходскую школу), как у моего отца, и одним — как у матери, ни о какой поэзии не могло быть и речи. На счет народной власти отношу я и учебу после войны в Вологодском пединституте. Вчерашнему фронтовику была предоставлена койка в общежитии и стипендия, гарантировавшая кусок хлеба (при бесплатном кипятке это было уже кое-что...).

Заветная мечта, которой я жил на фронте (участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии), исполнилась! А за плечами у счастливого первокурсника в тот день было уже двадцать четыре годика! Шесть лет, самых драгоценных, если иметь в виду творчество, поэзию, были отданы вой-

не и военной службе. Естественно было бы пожалеть об этом. Но, скажу честно, я не жалел. Превалировало гордое осознание исполненного долга и яростное стремление наверстать упущенное, овладеть науками и, в первую очередь, знанием и пониманием литературы, научиться, как говорил мой друг и земляк Сергей Орлов, «строгать рифму». Институтских лекций с педагогическим уклоном для этого, конечно же, было мало.

В институте судьба свела с Валерием Дементьевым — тоже фронтовиком, а главное — тоже начинающим поэтом, в одиночку, как и я, штурмовавшим крепость под названием Поэзия. Подружились. Стали печататься в «Красном севере», оформили организационно-областное литобъединение, добились проведения в Вологде творческих семинаров с приглашением поэтов и критиков из Москвы и Ленинграда... В 1949 году вышли первые сборники наших стихов; маститый наш земляк Александр Яшин дал нам рекомендации в Союз писателей, и мы были приняты.

Мой друг вскоре уехал в Москву, стал аспирантом Литературного института, я был приглашен в книжную редакцию, редактировал первые книжки А. Романова, В. Белова, В. Коротаева, основал и редактировал альманах «Литературная Вологда», одновременно продолжая руководить областным литобъединением... Без преувеличения можно сказать: именно тогда и родилась Вологодская писа-

тельская организация, хотя официально она была учреждена только через десять лет, в 1961 году, когда стали известными и Ольга Фокина, и Николай Рубцов... Я, к тому времени закончивший Высшие литературные курсы при Литинституте в Москве, был избран ее председателем.

Все, что произошло дальше, по крайней мере со мной, стало логическим продолжением того бурного начала, державшегося исключительно на энтузиазме, творческом горении и патриотизме нас, молодых.

В 1967 году я был приглашен в Москву на должность заместителя главного редактора журнала «Молодая гвардия». Проработал полтора года. Союз писателей предложил взять «Наш современник», который из-за непопулярности предполагалось даже закрыть. Согласился. Отдал этому журналу двадцать один год. Что́ и как было в нем, мне уже доводилось писать (см. «НС» за 1996 год, № 9, 10, 11, 12), повторяться нет смысла.

Сергей ВИКУЛОВ


1



1944 г.

ПОЭТ

Поведай тайну мне, Природа:
ты, в череде бегущих лет,
зачем кого-то из народа
венчаешь званием — поэт?

И наделяешь даром скорби
и ликования, любя?..
И мне ответил голос горний:
— Затем, чтоб выразить себя.

Поэт — мой слух. Поэт — мой голос.
Он говорит — я говорю.
Поэт — мой самый спелый колос
из всех, которые творю.

И самый хрупкий и ранимый,
и самый твердый!.. Если ж нет —
ищи ему другое имя —
любое! — это не поэт!

1976

ГОЛОС

Не трать словесного заряда,
Поэт,
коль спит душа!
Изволь
помедлить, брат,
покуда радость
ее наполнит или боль.

Попридержи к бумаге рвенье,
напрасно бисер не мечи:
Пусть Мысль,
а может быть, Прозренье
сверкнут,
как молния в ночи!

Тогда зажги огонь отваги
и, приравняв перо к штыку,
на поле белое бумаги
неспешно выведи строку.

И враг ей встретится ли, друг ли,
она должна звенеть, лишь тронь.
И жечься так, как жгутся угли,
положенные на ладонь!

А без того — зачем же надо
ее выдумывать, писать
и бегать с нею по эстрадам?..
Чтоб воздух только сотрясать?

1980

* * *

А мне порой дружки-приятели
толкуют с видом прорицателей:
мол, пропадешь ты ни за грош,
поскольку в Вологде живешь!
И добавляют саркастически:
мол, в наше время —
век иной! —
талант не так уж поэтический
необходим, как пробивной,
чтоб широко начать печататься...
А ты в провинции, чудак!

Так обо мне порой печалятся
дружки мои. Примерно так.
А я: «Мерси вам за внимание!»
И отхожу... Но что скрывать:
живут, как вирусы, в сознании
моих наставников слова.
И нет да нет
от одиночества
вдруг засосет вот тут, в груди,
и до того в Москву захочется,
что хоть пешком туда иди!

И начинаю я укладывать
свой чемодан: «Найдется дел...
И побывать в журналах надобно,
и потолкаться в ЦДЛ...»

Но... мудренее утро вечера.
Встаю и вижу поутру,
что все же мне покуда нечего
в столице делать,
и беру
недорогой билет до Кадуя.
И вот уж, с места взяв разгон,
стучит-бежит, мне сердце радуя,
междурайонный мой вагон.

Мои попутчицы — молочницы,
им, как и мне, недалеко.
Галдят, кругля круглее обруча
«о» в модном слове «молоко».
А через час с порожней тарою
с подножки прыгают в траву...

Гляжу на их одежку старую
и вспоминаю вновь Москву.
«О, я к тебе, золотоглавая,
еще приеду! Но пока
мне путь сюда, поскольку главная
еще не найдена строка».

И я иду тропинкой по́ лесу
да по зеленому лужку,
иду, ведомый жаждой к поиску
и добрым чувством к мужику.
И не жалею, что не съездил я
в Москву... Иду, упрям, вперед.
«А может, здесь река Поэзия
начало все-таки берет?!»

Да вот она — незамутненная!
Склоняюсь я и жадно пью
ее гремучую, студеную,
ее дремучую струю.
Не кипяченую, из чайника,
в котором в накипи эмаль...

И право ж, вас, мои печальники,
по-человечески мне жаль!

1962



НЕПОКОЙ

Меня с годами все сильнее мучает
сознание, что прожитого дня
и года — тоже, худшего ли, лучшего, —
не будет больше в жизни у меня.

Добро, коль этот день прошел в горении,
которое зовется Непокой,
и наградил меня стихотворением
или хотя б единственной строкой,

хорошей книгой, радостным прозрением —
прозрение — ведь это тоже вещь! —
бесстрашием и яростным стремлением
взять груз на плечи,
а не сбросить с плеч.

Да мало ль чем?!
И, значит, не напрасно я
в тот день поднялся, чуть забрезжил свет.
И отлились мгновения прекрасные
в дела — не только в дым от сигарет.

И значит, я живу, и я наследую
жизнь, до меня звеневшую века...
Я начинаю день свой, как последнюю
монету достаю из кошелька.

1976

ПЕРЕД НОВЫМ ДЕЛОМ

О, не казнись раскаяньем напрасно
и не таи на прошлое обид:
что сделано — то нам уж неподвластно,
подвластно то, что сделать предстоит.

Все — и позор, и стыд, и униженье,
тобою пережитые в свой срок,
прими как дар судьбы, как одолженье,
сумей лишь из всего извлечь урок.

Забудь навек, забудь душой и телом
и что и как с тобою было встарь.
И, обновлен, предстань пред новым делом,
как Бог и всемогущий государь.

Лишь от твоих зависит полномочий,
какое будет выжжено тавро
на нем: иль «зло» — чернее черной ночи,
иль светлое, как божий день, «добро».

И разберут дотошно и неспешно
твои потомки в дальнем далеке,
кем был ты в наше время: или пешкой,
иль королем на шахматной доске.

1976

ПОСТОЯНСТВО

Ю. Бондареву

Славлю постоянство гордых елей,
Потому как ели не из тех,
У кого семь пятниц на неделе,
Кто взирает робко снизу вверх!

Рыжей бровью поведет лишь осень,
Как уже готовы все в лесу
Порыжеть и даже вовсе сбросить
С плеч своих зеленую красу.

Только ели —
                    не бывало сроду,
Чтобы перекрасились до пят, —
Несмотря на рыжую погоду,
Хоть руби, зеленые стоят.

Мало! Даже в белые метели,
Даже в холода, когда вода
Замерзает,
                    не сдаются ели,
Не меняют цвета и тогда!

Вот они стоят — сам черт не страшен, —
Отряхают белое с боков,
Здорово похожие на наших
Очень зимостойких мужиков.

Засугробит все кругом — не дрогнут.
Лишь сгореть, как свечка на ветру,
Могут ели. Большего не могут.
Мне такой характер по нутру!



ОДА ПЕТУХУ

О петух! О Петя! О Петро!
О боец в малиновом берете!
До чего же все-таки добро
ты поешь, особо на рассвете!

В голосе твоем всегда металл,
а не из графинчика водичка,
чтобы супостаты где-то там
знали, что ты птица, а не птичка!

Песнь твоя проста и коротка.
Но зато твое большое горло
ни единой ноты за века,
фальшью отдающей, не исторгло!

Лишь о том, в чем твердо убежден,
ты поешь — всему известно краю:
«Я не зря со шпорами рожден!
Кто б ни бросил вызов — принимаю!»

И, чтобы соседний слышал двор
песню эту, ты взлетаешь бурно
на телегу или на забор —
на свою высокую трибуну.

Я люблю тебя на городьбе
видеть... До чего же ты хороший
в тот момент, когда ты сам себе
хлопаешь заранее в ладоши.

И кричишь: «Я тут, я на посту!»
Даже ночью, сидя на насесте,
ту же речь, взрывая темноту,
ты бросаешь недругам — всем вместе!

И не про тебя — ты это знай —
поговорка: мол, прокукарекал,
ну, а там хоть век не рассветай, —
нет, она, увы, про человека.

Ты же, мой певун, трубач, поэт,
знаю, потому и не стыдишься
ночью петь, что веруешь в рассвет
и, как я, проспать его боишься!

В ночь и в полдень бей: «Ку-ка-ре-ку!» —
под высокий свод родной сторонки,
чтоб у тех, кто лежа на боку
царствует, трещали перепонки!

ЧИТАЯ ИСТОРИЮ

Как долго ты училась жить, Россия...
И даже в час, когда тебя рвала
по-волчьи
              на куски
                        орда Батыя —
всяк князь звонил себе в колокола...

И, глядя на дорогу через щелки
бойниц,
          гадал, крестясь на образа:
«А вдруг они проскачут мимо, волки...
А вдруг пройдет сторонкою гроза...»

Напуган, с тем ложился и вставал он...
И не спешил на помощь, втайне рад,
что осажден, по слухам, град немалый,
в котором княжит дерзкий супостат.

«И поделом... И пусть он примет муку...»
шептал,
          лелея мысль, что наконец,
побитый, под его придет он руку,
поклонится ему таки, гордец.

А утром —
              со стены, как на ладони,
видны — через луга, через поля
монгольские выносливые кони
скакали, гривы по ветру стеля.

Неслись, набиты рухлядью, кибитки,
вздымались пыли черные столбы...
Орда клубилась... И начала битвы
ждала, как в лес набега по грибы.

Ждала... Носились с гиком в седлах люди,
опробуя арканы и ремни...
Ждала... А град, как яблочко на блюде,
лежал пред ней — лишь руку протяни!

Лежал. Один. Ни с севера, ни с юга
подмоги... Ни с которой стороны.
И ратники, тесня плечом друг друга,
глядели обреченно со стены.

Они-то знали: завтра стрелы свистнут,
нетерпеливо звякнут стремена,
взметнутся сабли — и пойдет на приступ
орда. И станет низенькой стена.

Как полая вода через плотину,
на город опрокинется орда,
строй ратников прорвав, как паутину...
И дым и пламя вымахнут тогда

из окон... И заржут, взбесившись, кони...
Собьются в кучу овцы на лугу...
И женщины, спасаясь от погони,
завзвизгивают в страхе на бегу...

...Остынет к утру пепел. «Сыроядцы»
поганые,
уставши пировать,
на запад дальше с гиком устремятся,
оставив мертвых воронам клевать.

А на живых — подушно — дань разметят,
которую платить под свист плетей
до самой смерти им,
а после — детям,
а там еще и детям их детей.

...Как долго ты училась жить, Россия!



ДМИТРИЯ ПОЛКИ

Плюнули на розни, сдвинули засовы:
наконец-то поняли сполна,
что у них не мало княжеств-то усобных,
ну, а Русь-то все-таки одна!

Где ее вторую вымолить
                                        и взять где
родину, хоть земли широки?
И пришли в отваге к Дону и Непрядве
под рукою Дмитрия полки.

Всхрапывали кони, звякали уздечки,
хлопья пены падали в траву.
Ратники
Мамая слышали за речкой,
за спиною помнили Москву.

«Княже, тут нам стать бы...
                                        Коль не одолеем —
вынесет из пекла вороной!»
«Встанем за Непрядвой! — отвечал,
                                        бледнея, —
Пусть Непрядва будет за спиной!»

И добавил, сузив отрешенно очи:
«Все равно назад нам нет пути!»

Долго он решался —
три походных ночи —
эти вот слова произнести.

«С Богом, братцы! — Не был
князь московский трусом. —
Попроворней! Строя не ломай!»
...И Мамай, увидев пред собою «русов»,
вздрогнул:
он бывал в боях, Мамай!

Плащ багряный
Дмитрий отряхнул от пыли,
грозно молвил — в стремени нога:
«Мы не Дон, ребята, —
страх переступили!
А без страха мы побьем врага!»

1979

ПАМЯТЬ РОССИИ

Вл. Чивилихину

Я блуждаю в подвалах минувших веков.
Предо мною
то выступов скользких оскалы,
то безмолвие башен, бойниц, потолков,
то глубокие,
в век глубиною,
провалы.

Я теряю связующей нити конец,
я стучу головою о стену в бессилье:
«Был иль нет
у тебя
гениальный певец?»
«Был!» — ответила мне, не колеблясь,
Россия.

«Почему же его громогласная песнь,
сладкозвучная песнь
оказалась бескрыла?
И о том, что он был у тебя, что он есть,
он, великий поэт,
ты, Россия, забыла?
Иль ты память свою утопила в вине?
Иль хлебнула иного какого дурмана?»

«Сотни лет, — простонала Россия, — во мне,
в самом сердце моем
кровоточила рана.

Мой шелом изувечив,
степная стрела
со стены меня сбросила, память отшибла.
И мечу, и огню предана я была
и закована в цепи...
Но я не погибла!

Я одну только ведала песню тогда:
стон...
Со стоном я снова вздымала стропила.
Пусть не все возродила я вновь города,
но свой дух —
это ведает враг —
возродила!

И тогда предъявила ордынцам свой счет!»
«Это так! Но туманны истории броды...
И забыла, наверно, ты что-то еще...»
«Что забыла — все вспомню!» —
взлетело под своды.

1980

МЕДВЕДЬ

По лесу, ломая валежины лапами,
Медведь не крадется — бредет напролом.
Свое государство! И эти палаты
Соснового бора, и тот бурелом...
Захочет — спиною о елку почешется,
Над тонкой березкою вдоволь потешится:
Взберется, за волосы схватит, блажной, —
И ну до земли нагибать ее, нежную...
Плевать, что сычи у него за спиной
За это его обзывают невежею!
Наскучит — и снова, беспечен, шатается,
Нет мяса — овсяною кашей питается:
Насеял мужик возле леса овса.
Меж тем во владеньях спокойствия прежнего
Не стало: зарезали волки лося
И жаждут попробовать сала медвежьего.
А он, уповая на силу былинную,
Все это считает за шалость невинную
И ухом — ни тем, ни другим — не ведет.
От стужи в берлогу зароется, увалень,
И лапищу чуть не полгода сосет:
Ему все равно, что о нем бы ни думали!
Сопит вполноздри он... А кто-то украдкою
Его обложил и под левой лопаткою
Щекочет уже заостренным колом.
Как взрыв, разгибает он тело бугристое
И в рост, разъяренный, идет напролом!
Но поздно. Грохочут жестокие выстрелы...
1960

РУССКИЕ СКАЗКИ

О сказки! О бессмертные творенья,
далеких предков наших сочиненья,
на полках не лежавшие вовек!

Кто вас творил?
Доподлинно известно:
русоволосый, живший повсеместно,
с умом расхожим русский человек.

Творил стоусто, слово подбирал
правдивое, не мудрствуя лукаво.
Он, как творец, имел на это право.
Он все из жизни брал.
И если врал —
не из тщеславья, жаждая успеха,
и не из лести — участи льстеца
в сем деле он не ведал... Врал для смеха,
из озорства, для красного словца!

Он был рабом, творец. Его пороли
и били в зубы с маху кулаком,
и в шею гнали, коль просил он воли,
и бранно называли дураком.

А он, дурак, был вовсе не дурак!
В своем углу, где крепок дух овчинный,
он хохотал над барами, да так,
что тухли, в стенку воткнуты, лучины
и лопались застежки на портах!

И слово — все, чем он владел пока, —
рождало эхо. Грохотало громом!
И поднимался во весь рост над злом он
в обличии Ивана-дурака.
Он все умел, дурак, и все он мог!
И неспроста, играя опояской,
он ухмылялся в ус: мол, сказка сказкой,
а дело — делом... Дайте только срок!

1963



ПАМЯТЬ РОДА

Не пугало средь огорода
и не овца среди овец
ты, Человек...
Ты — память рода
и память крови, наконец.

Тебе
сегодня жить досталось.
Не первый ты.
Но крайний ты.
В тебе всех пращуров усталость,
всех предков смелые мечты.

И опыт их, и честь, и слава,
и гордость их, и даже стать...
И у тебя такого права
нет — их могилы растоптать.

И осмеять
в своей гордыне
(а ведь порой смеешься ты!)
все то, что кажется нам ныне
наивным с нашей высоты.

Остановись же, брат...
Помедли
кирпич обрушить в лебеду.
Не первый, но и не последний
ты в человеческом роду.

Почувствуй стык времен плечами.
Ведь ты всего лишь знак кольца
в цепи, которой нет начала
и не предвидится конца!

На задирай особо круто
свой нос.
А вдруг... А вдруг потом
смешным покажется кому-то
тобой уложенный бетон?!

Снесут его и бросят в груду
потомки где-нибудь во рву
и самого тебя забудут,
как прошлогоднюю траву?!

...Войди в старинные ворота,
на башни глянь и купола.
Здесь шла великая работа,
творились дивные дела.

Здесь
смердами в былое время
по разуменью, не сплеча,
слагалась чудная поэма
из камня да из кирпича.

И эта звонница собора —
ее запевная строка,
а башня — эхо разговора,
что меж собой ведут века.

Сумей расслышать это эхо,
глубинным нервом ощутить,
чтоб, не плутая,
дальше ехать,
чтоб не вслепую дальше плыть.

1976



СВЯТАЯ ПРОСТОТА

...Видно, уж таков он есть от Бога,
Мой народ, святая простота.
Испокон влекла его дорога.
Дикие, предельные места.
Прорубиться, переплыть!.. И где-то
Лес свалить, разделать новину...
И оставить все: жену и деток,
Коли царь покличет на войну.
Кровушку свою пролив в сраженьях,
Возвернуться, ежели судьба.
И опять за пенья да коренья
Взяться — и горбатить до горба.
Чертоломить от зари-восхода
До зари... Какая бы ни власть.
Одного боясь лишь: недорода,
Ничего другого не боясь.
Лишь бы это вот: «Земля крестьянам»
Стало делом — раз и навсегда.
Лишь бы из крестьянского кармана
Все за так не рвали города.
Чтоб хозяйству не было урона,
Чтобы не пришло в разор оно.
Ну, а кто на троне, возле трона —
Господи! — ему не все ль равно!
Есть в Расее-матушке порядок —
И добро, и неча зря гундеть...

Ну а нет — так можно и варягов
Кликнуть: «Приходите володеть!»
Приходили, кажется, когда-то:
Русь — от века лакомый кусок...
Только изменились времена-то,
Старое — оно ушло в песок.
И варягов звать уже не надо:
Их, охочих править, скажем так,
Да и володеть, — кругом и рядом
Ныне как нерезаных собак.
Всяк про гуманизм и про культуру
Говорит, а в мыслях держит, тать,
Как бы половчей Россию-дуру
Обвести вкруг пальца,
И не шкуру —
Целых две иль три с нее содрать!
...А народ —
Он пьет да спит, беспечен,
Он и видит вроде это зло,
И ворчит, случается... Но с печек
Не спешит слезать: не припекло.
Мол, еще не выстала дорога,
Есть, мол, непроезжие места...
Что с него... Таков уж он от Бога,
Мой народ, святая простота.

ЕСТЬ ДУША У ЧЕЛОВЕКА

Вот о чем, прожив уже полвека,
думаю теперь все чаще я:
есть-таки душа у человека,
есть! Притом у каждого своя.

Я науки башню не обрушу,
ежели добавлю заодно:
ощутить чужую чью-то душу
нам своей лишь собственной дано.

Есть душа широкая,
как море,
светлая, как в зареве восток.
Хочется нам — в радости ли, в горе —
из нее испить хотя б глоток.

Ей в противовес душа другая
существует: черная, как ночь.
И при встрече ваша, содрогаясь,
мчится от нее, как ветер, прочь.

Серая, похожа на мышонка
(вся забота — крошку отыскать),
гоношится мелкая душонка —
эту можно спичкой расплескать...

В эту плюнуть даже — не прибудет,
да и не убудет ни гроша...
Рядом с нею
из одной посуды
ест и пьет корыстная душа.

Эта и соломы даже даром
не подстелет... Что вы! Эта ржа
даже за простой свечной огарок
будет ждать тройного платежа...

Мягкая от роду,
как подушка,
вся курясь приятственным дымком,
льстивая пред кем-то
вьется душка,
хоть того считает дураком.

И ведь благоденствует, притвора.
О, она умеет и теперь
кой к кому подъехать на рессорах
и уйти, открывши задом дверь.

Есть душа продажная.
Не скину
со счетов ее! Во все века
«славилась» она ударом в спину...
И не переделалась пока!

А еще страшней душа д в о й н а я —
оборотень с медом на устах.
Эта мельтешит, хвостом виляя,
в самых неожиданных местах.

Но живет, над всеми возвышаясь,
всех своим величием круша,
чистая, глубокая, большая —
оттого
красивая душа!

1976



ОДНОМУ ЗНАКОМОМУ

Лучше б кошелек с аккредитивом,
паспорт или ценный матерьял
потерял ты (что ж, не подфартило!) —
ты же — хуже — совесть потерял!

Лучше б, подобру да поздорову,
ты бы пропил мерина с дугой,
а еще вдобавок и корову...
Ты же совесть пропил, дорогой!

И живешь с порожним в сердце местом,
зла не отличая от добра.
И сочится ложью и бесчестьем
черная в душе твоей дыра.

Не прошла тебе потеря даром...
Хоть и хорохоришься, но ты
словно стог осенний без стожара —
нет ни стати и ни высоты:

серая бесформенная куча
с гнилью пополам — не вороши...
Так-то, братец... Совесть — не онуча,
совесть — становой хребет души!

Без него она как приблудь-сучка,
и хвостом виляет, и юлит,
и того, кто дал лизнуть ей ручку,
лежа на спине, благодарит.

Где уж ей до гордости, перхатой!
Все глядит, не бросят ли куска
пожирней
                    со скатерти богатой,
ждет, зубов припрятавши оскал.

Ждет, подобострастья не скрывая,
ждет, изнемогая от слюны,
хоть кого готовая облаять,
изловчившись, цапнуть за штаны.

1976

НА ВОКЗАЛЕ

Вокзал. Платформа. Холодно и сыро.
Одета легкомысленно легко,
она, я понял, провожала сына
надолго и, как видно, далеко.

Стояла перед ним в платочке синем,
невысока — ему едва до плеч,
и все просила сына, все просила
писать ей — чаще! — и себя беречь.

— Там будут горы, будет бездорожье...
— Ох, мам!..
— Ну, хорошо: ты не робей...
Я поняла... Но будь поосторожней!
А главное, не пей, сынок, не пей!

И вновь:
— Бураны, слышно, там и вьюги,
и ты уж одевайся потеплей:
простудишься в два счета — не на юге...
А главное, не пей, сынок, не пей!

И снова:
— Много вас там будет, всяких...
Иной — чуть что — пристанет как репей.
Не спорь с таким, не доводи до драки...
А главное, не пей, сынок, не пей!

Не забывай отца, когда в компании
поднять решишься с водкою стакан.
Не забывай... Он был хорошим парнем,
а стал каким — ты это знаешь сам.

Он сам себе, отец твой, пропасть вырыл —
могилой обернулася она...

Вокзал. Платформа. Холодно и сыро.
И красный свет. И женщина. Одна.

1980



ПРОЗРЕНЬЕ

Матери

Пришло прозренье в дальнем далеке:
как мало я пожил с тобой, как мало
твою я руку грел в своей руке,
как много задолжал тебе я, мама.

И по своей, и по чужой вине:
мне рано в жизни выпала дорога...
И часто снится, снится часто мне,
что я у твоего стою порога.

Стою и оправдания слова
невнятно бормочу, почти рыдая...
А у тебя, ах, мама, голова
уже совсем, совсем почти седая.

Ты на меня, печальная, в упор
глядишь, не начиная разговора...
О, молчаливый матери укор!
На свете тяжелее нет укора.

«Прости! — я в тишине произношу. —
Прости, что добротой твоей беспечно
дышал я так, как воздухом дышу...
И это, мне казалось, будет вечно.

Но от тебя и дома вдалеке
пришло прозренье все-таки: как мало
твою я руку грел в своей руке,
как много задолжал тебе я, мама!»

1976

ЖУРАВЛИ

Валерию Дементьеву

Дороги пали. Сходит снег с полей.
И с каждым днем в природе больше синего...
О, как я понимаю журавлей,
летящих в это время над Россиею!

«Курлы! Курлы!» — разносится с утра
и в небесах и в талых водах плещется.
О, как оно похоже на «ура!»
вернувшихся домой сынов Отечества!

«Курлы! Курлы!» — Но старший держит строй,
прокладывая курс в обитель старую.
О, как хочу я вешнею порой
стать журавлем, лететь домой со стаею!

Пускай, покуда заморозки там
и лед еще стоит, но мне не терпится,
как этим в небе ранним журавлям,
скорее с милой родиною встретиться.

Я ВЫШЕЛ К СТОГУ

Дождь шел такой: он сеялся, не лился,
как осенью бывает, — моросил.
И лес был тих, и облетали листья
последние с березок и осин.

И плыли тучи, днищами провиснув
до пажитей, до пасмури лесной, —
медлительные, грустные, как мысли,
как мысли поздней осени самой.
И журавлиный клин торил дорогу
над лесом в чужедальнюю страну...

Промокнув и устав, я вышел к стогу -
и снял с плеча ружье: «Передохну».

Надергав сена и поджав колени,
я втиснулся в убежище спиной
и стал, затихнув, слушать день осенний
и дождик, моросивший надо мной.

И я услышал листьев лёт, и шорох
дождя, и дуновенье ветерка.
Услышал,
как мурашки — целый ворох! —
скатились книзу от воротника.

И капельку увидел, что висела
на стебельке, прогнувшемся дугой.
И запах сена, знойный запах сена
вдруг различил...

И вспомнил день другой.
Тот — давний и недавний...
Это было
у озера, на самом берегу.
Метали стог. Я то и дело вилы
вздымал, а ты стояла на стогу.
А ты стояла, утопая в сене.
«Эй, берегись! — кричал я. — Подаю!»
И видел только лишь твои колени
и колоколом юбочку твою.

Нет, силой я не хвастался, ей-богу,
тогда... Я ждал лишь, дело торопя,
когда ты, вскрикнув, скатишься со стога
и я поймаю на руки тебя.

Тебя — не подступись! — воображулю,
тебя — с поглядом строгим свысока,
пока чужую, да, пока чужую,
но ведь чужую именно пока!

И ты для виду только будешь злиться
и отбиваться: «Кто тебя просил?!»

...А дождь все шел. И облетали листья
последние с березок и осин.

1969

ОДИН ЛИШЬ РАЗ...

Иду по тропочке. Стоят,
колючие, ершистые,
четыре елочки подряд,
а пятая — пушистая.
Стоит на взгорочке, скромна,
от всех других отличная.
Пускай на чей-то взгляд она
не лучшая — обычная.
И рост-то мал, и нрав-то тих —
с такой не знать отрадушки...
Зато, в отличье от других,
у ней не лапы — лапушки!
Ее, пушистую, бы взять —
не знаю, за которую, —
и, как девчоночью, пожать
и отвести бы в сторону.
Пред теми, кто глаза косит
и кто петляет около,
она не юбочкой форсит,
а сарафаном до полу.
Ах, сарафан... Среди берез,
с ромашками в оборочке.
Все необычное до слез
в моей пушистой елочке.
Не так, как все, в рассветный час
шумит, не так качается...
Такая
          каждому из нас
один лишь раз встречается!

НЕ ПЛЯШУТ...

**В нашем клубе теперь культурно.
Ребята теперь не пляшут...**

*Из речи заведующей
сельским клубом Маши Р.*

«Не пляшут! Вышла эта мода.
Произошел большой скачок
в культурном уровне народа,
о чем за два последних года
я вам и делаю отчет.

Не пляшут!
Танцы, только танцы!
Ребята, ежели взглянуть
со стороны,
как иностранцы, —
не уступают им ничуть!

А то, бывало, нету сладу
с шальными...
Выйдут: бух да бух!
А нынче танцы до упаду,
часа по три-четыре кряду,
и без особого догляду —
свет лишь бы только не потух.
Стеснялись, помнится, сначала,
«трясучкой» даже звали твист...

Но я на это не серчала,
сама их лично обучала,
пластинки ставил гармонист.
Теперь мы с ним танцуем оба.
Теперь в углах уже никто
не жмется: кончилась учеба!
Жаль только — нету гардероба:
танцуем в шубах и в пальто».

Ах, Маша... (Вы простите, Маша,
что я успел на карандаш
взять ваш отчет.)
Итак: не пляшут...
Мне показался, Маша, страшен
и очень горек опыт ваш.

Чему вы радуетесь, право?..
Ужели не известно вам,
что пляска русская,
как лава
громокипящая,
со славой
прошла по всем материкам?!

Да, с ярым топаньем и свистом!
Да, с частой дробью!
— Эх, ходи! —
И с неизменно голосистой,
завороженной гармонистом
трехрядкой русской на груди!
Под переборы той трехрядки
кто не бросался вихрем в круг?

Чьи не гвоздили об пол пятки?
Кого веселые бесятки
не доводили до присядки?
Откуда прыть возьмется вдруг!..

— Эх, туфли мои,
носки выстрочены!
Не хотела выходить —
сами выскочили.

Не руки — крылья распластались!
А из-под ног — огонь, огонь!
Да можно ль русских нас
представить
без русской пляски под гармонь?!

В ней наш характер: взрыв и буря!
Коль подкатило — расступись!
Не усидеть нам, глазки щуря,
коль забаянят вдруг,
ни в жисть!

Но нам не в том одном услада,
чтоб половиц не пожалеть.
Душе великая отрада,
притопнув вдруг, — послушай, лада! —
еще и песней прозвенеть:

— Милая, красивая,
свеча неугасимая,
горела, да растаяла,
любила, да оставила.

А было раз: кипя отвагой, —
те дни не так уж далеки, —
распив, что было в наших флягах,
мы в площадь —
в площадь у рейхстага! —
вбивали лихо каблуки!

Вбивали, сбросив с чубов каски,
напротив черных тех дверей...
И помнят недруги —
не сказки! —
гром той победной русской пляски
ясней, чем грохот батарей!

И будут помнить — так-то, Маша...
Сомнений нет на этот счет.
А вы: «У нас теперь не пляшут...
Произошел большой скачок...»

Не верю вашему уставу!
Как говорили в старину:
«А я и в гроб ложиться стану,
а лаптем все же болтану!»

СЕРП И МОЛОТ

Еще один заканчивался год
«Великой перестройки», и народ
Толпился с номерами на ладонях
В очередях, и в русском «Белом доме»
Кипел законотворческий базар...
А в полночь, как о том вещали «Вести»,
Упали Серп и Молот
с Флагом вместе,
Упали прямо в грязь, на тротуар.
И Серп спросил у Молота: — Мой друг,
Так что, союзу нашему каюк?
— Выходит, так, — ответил гулко Молот. —
Союз Серпа и Молота расколот.
Мы сброшены и с флага, и с герба:
Ты — Серп мужицкий, я рабочий Молот...
— Так что же будет?
— Может, даже голод...
По-нашему, рабочему — труба!
Сам посуди: я плуга не скую —
И ты не вспашешь полосу свою
И, значит, гореву не засеешь...
Ведь было ж — помнишь? — было так в Расее,
Когда я хлеб прикладом «молотил»
(Не на гумне, а около амбара)
И хлестким — извини меня — ударом
Скулу тебе однажды своротил.

Не ты, не я теперь, а «средний слой» —
Опора власти...
— Нет, ты очень злой,
Мой друг, сегодня. С этим самым «слоем»
Не двое будет нас уже, а трое...
— Да как сказать... — не глядя на дружка,
Ответил Молот голосом печальным.
Ты в поле будешь, я у наковальни,
А «слой»... он будет вечно у мешка.
На корабле с названьем «Капитал»
Он будет господин и капитан.
А мы с тобою... — Молот поугрюмел. —
Мы будем обитать с тобою в трюме,
Поскольку мы по-ихнему — «рабы»
По духу, по рождению, по крови...
— А если... — Серп сурово сдвинул брови.
— А-а!.. — звякнул Молот. —
Если б да кабы..

ХРЯКУ ПОЗОЛОТИЛИ ПЯТАЧОК

(Басня)

Хрячок
(о нем сегодня мой рассказ)
не выделялся в поросячьем стаде
почти ничем. Его Хозяин пас
со всеми вместе
и в одной ограде.

Все делал он, как все — и пил, и ел...
Как все, из грязи днями не вылазил.
И в небо — даже лежа! — не глядел.
Лишь малость на отличку
хрюкал разве.

Не возмущаясь, хрюкал, не сердясь,
а жалостливо этак... Даже мило!
«Хрю-хрю», — тянул он, «принимая» грязь.
И чувствовал: неплохо выходило.

Компанию, однако, он любил.
Причем такую, чтобы рыло в рыло.
Кто что-то не доел
иль не допил —
он мог доесть, допить —
не гордым был он!

И допивал. И в этом интерес
особый находил он, как ни странно.
И набирал довольно быстро вес,
притом не только тот, что в килограммах.

И был, как говорят, «положен глаз»
в ту пору на него.
В другое стойло
Хрячок был переведен — это раз,
и два — стал получать погуще пойло.

И был над ним засвечен ночничок,
чтоб он не портил глаз...
Его помыли,
ему позолотили пятачок...
И о корыте новом не забыли!

Комфортом окружен со всех сторон,
теперь ничем он не был озабочен.
И хоть на луг, как прежде, бегал он,
но целину уж больше не ворочал.

Так... иногда... для виду подберет
чего-нибудь, где рыто-перерыто...
О стойле мысль его!
Он знает: ждет
его там не порожнее корыто.

Ему там уваженье и почет.
Он хрюкает под крышею сарая
вовсю,
свой золоченый пятачок
по-птичьи
чуть не в небо задирая!
И верит, что «хрю-хрю» его вполне
и остро-современно и певуче...
— Но это ж случай... — скажете вы мне.
Ну, да... Но характерный очень случай!



КОНЬ ГАЯ КАЛИГУЛЫ

(Из легенд Древнего Рима)

Всех городов владыка — он был бог!
Его любое слово было свято.
Что в этом мире он хотел — все мог,
он, Калигула — римский император!

Чтоб кто-то возразить ему посмел,
ослушаться — такого не бывало!
Ни дерзких взглядов и ни встречных стрел!..
И это Калигулу раздражало.

Все чаще просыпался он в поту
и, осенен догадкой, думал с болью,
что он теряет мысли остроту
и, кажется, утрачивает волю!

Едва на чем решится настоять,
поспорить, поупорствовать до крика,
как снова то же самое опять
летит ему в ответ: «Ты прав, владыка!»

Раз приказал невинного раба
казнить — и что ж?..
Судья воскликнул в страхе:
«Ты, повелитель, мудр! Его судьба —
а с ней не спорят —
умереть на плахе!»

Повиновенье — даже в пустяках!
Все — в том числе сенаторы седые:
«О, император! Все в твоих руках!» —
твердят и перед ним склоняют выи.

Однажды утром, свитой окружен,
в нетронутых лесах, в предместьях Рима,
охотой шумной тешил сердце он
на Рыжем — на коне своем любимом.

И не было спасенья для зверья.
Копье разило. Конь летал как птица!
И вдруг воскликнул Гай: «А все же я
заставлю вас со мной не согласиться!»

Едва ли понял кто,
о чем в тот миг,
разгорячен, подумал Калигула...
Но видели потом, как он приник
к коню и как перчаткой вытер губы
ему...

И как, ухмылку затая,
успел опять беспечным притвориться,
игриво повторив: «А все же я
заставлю вас со мной не согласиться!»

Наутро, повторенная стократ,
весть облетела площади, что срочно
сегодня созывается сенат,
а для чего — никто не ведал точно.

Пришли, заране заняли места
сенаторы, ослушаться не смели.
«Созвал, — шептались, — значит, неспроста!»
А взоры все — туда, к парадной двери...

И вот она открылась наконец,
вся в бликах солнца... И перед сенатом
предстал великолепный жеребец,
и рядом — в легкой тоге — император!

Поставил своего любимца он
пред первым рядом (извините, задом),
а сам поднялся медленно на трон,
сел и обвел сенат пытливым взглядом.

И четко: «Есть желанье у меня
(он не спеша ронял за словом слово)
произвести в сенаторы коня —
поскольку и умён мой конь, и ловок!

И самых благороднейших кровей,
а кроме — золотистой, редкой масти».
И смолк. И поглядел из-под бровей
протяжно
на столпов верховной власти.

«Кто возразит? Кто первый,
оскорблен,
с желанием моим не согласится?..
Я награжу того!» —
Так думал он,
почти с мольбою вглядываясь в лица.

Но зал молчал. Надежно. Гробово.
...Охваченного нервною зевотой,
бесить уж это начало его,
как вдруг поднялся все же дерзкий кто-то.

Картинно тогу бросил на плечо.
«Пред мудростью твоею, император,
склоняюсь я! — он начал горячо
и, как всегда, чуть-чуть витиевато. —

Все мы, — повел рукой он, осмелев, —
животные! И разницы меж нами —
пустяк:
          одни ступают по земле
двумя,
          другие — четырьмя ногами».

И далее, собравши весь свой дух,
почти продекламировал оратор:
«Что ж, если есть сенаторы на двух,
то пусть же будет хоть один сенатор
на четырех! Хвала ему и честь!»
И поклонился,
белыми висками
блеснув... И не успел еще он сесть,
как зал взорвался от рукоплесканий
и криков одобрения: «Виват!»
Аж голуби над куполом сената
взлетели!
Так приветствовал сенат
на четырех, подкованных, собрата.

А император, слушая тот шквал
и глядя, как помахивает Рыжий
хвостом,
все ниже плечи опускал
и голову клонил все ниже, ниже...

Каленый штык, что им проглочен был
в тот час, когда в сенат он собирался,
опять — о боги! — медленно остыл,
согнулся...
Даже, кажется, сломался!

И испарился, словно дым в саду,
заряд упрямства и огромной воли...
Он встал,
не в силах слушать ерунду,
которую сенаторы пороли...

1980

ОГОНЬ

Что в имени твоем заключено,
Огонь? Ну, например, когда темно
и мы, чтоб видеть, зажигаем свечку?..
Или когда пурга свистит в окно,
и все оно к утру заметено,
и мы, дрожа, растапливаем печку?

Для человека ты, Огонь, и свет,
но ты же и тепло. Тобой согрет,
морозы он легко одолевает.
Ты друг ему, Огонь, но ты и враг!
И горе, коль над крышею, как флаг,
вдруг ты взовьешься... А ведь так бывает?!

Задумавшись, гляжу я иногда
в далекие, жестокие года
и вдруг припоминаю с содроганьем,
что ты, Огонь, и казнь...
Да, да — и казнь.

И часто
Правда,
что не отреклась
от правды,
шла к тебе на поруганье.

Но, к счастью, в этом также ты не весь,
Огонь. Ты — месть еще,
святая месть!
О как испепелял ты наши души,
когда, вздымая в ярости ладонь:
«Огонь! — кричали мы. — Огонь! Огонь!!!» —
пока не раскалялись жерла пушек.

Добро и зло в тебе заключено,
Огонь... Но не напрасно все равно
однажды — не униженный проситель,
а гордый и бесстрашный Прометей
тебя, Огонь, похитил для людей,
во тьме блуждавших...
У богов похитил!

1974

2





1946 г.

ОНА МНЕ МАТЕРЬЮ БЫЛА

Критик мой, ты меня не брани,
что я кланяюсь снова с грустью
деревенскому захолустью, —
критик, ты меня не брани.

Я не хуже, чем ты, литспец,
знаю — не по твоим уставам, —
что приходит деревне старой,
как ты выразился, конец.

Ах, далось же тебе шпынять
за грехи меня!.. Это просто.
Ты б попробовал, стрелы остря,
прежде чувства мои понять.

Да тебе ли понять, тебе ль,
что деревня была мне смала
та же добрая мама...
Мама,
очень старенькая теперь.

Что она мне, как мать, дала
душу, слово, характер, силу.
Научила любить Россию
и добро отличать от зла.

И хорош бы я был, хорош,
если б вдруг, не признавши сына,
мама: «Чей ты?» — меня спросила
и: «Откуда куда идешь?»

...Вот стою перед ней, седой,
нежно глажу ее морщины,
не ребенок уже — мужчина,
кстати, тоже немолодой.

И умом понимаю: да,
отжила... А в полях моторы:
«Отжила», — мне, как эхо, вторят,
«Отжила», — гудят провода.

Но душой — хоть меня убей,
хоть живым зарой вместе с нею! —
я жалею маму, жалею,
низко кланяюсь в ноги ей.

Вновь и вновь обращаю взор
к ней, хочу — продолжатель рода —
знать, как прадеды жили: Федор
(Федор вроде...) и Алафер.

Благосклонна ль была судьба
к ним? Чем были они известны?
И какие певали песни?
И удачливы ль на хлеба
были?..

Очень хочу я знать,
глубоки ль и где мои корни?
А она уже и не помнит
ничего о прадедах, мать...

Да и песни — стара, стара! —
мама тоже перезабыла.
А ведь помнила.
И любила
петь их в долгие вечера.

Мне ль корить ее? Не корю.
Нет, другой одержим я целью.
«Ты была моей колыбелью, —
тихо старенькой говорю. —

Я сбегал с твоего крыльца,
а в руке — горбушка ржаная...
И спасибо тебе, родная,
что не холила ты мальца.

Если вспомнить, и это мне
было очень кстати порою...
И особенно — я не скрою —
на великой на той войне».

1971

РОССИЯ НАЧИНАЛАСЬ С ДЕРЕВЕНЬ[*]

Сенокосит деревня.
                    Уставшие за день,
вновь блаженствуем мы в деревенском раю.
Теткин дом — он четвертым стоял на посаде,
а сегодня он первым стоит, на краю.

А сегодня за теткиным домом — околица...
И не первое лето, с тоски без ума,
там, где раньше стояли другие дома,
синим далям по-вдовьи черемухи молятся.

И глядят на дорогу и верят, неистовы,
что к весне мужики возвратятся сюда,
навострят топоры, срубят избы смолистые,
и запахнет дымком,
                    как в былые года...

Ах, черемухи!
Лучше вам с долею трудною
примириться:
иные пришли времена.
И не будет деревня уже многолюдною,
потому что моторною стала она.
Но и все ж
мне близка и понятна, деревья,
ваша грусть.

---

[*]Из поэмы «Окнами на зарю».

Я и сам до сих — не солгу —
к той тележной, бедовой и горькой деревне
очень нежные чувства в душе берегу.

Не она ли — она меня, малого, скоро
понимать научила — не вытью одной —
как он, хлебушко-батюшка, пахарю дорог
и как сладок, поскольку он хлеб трудовой.

У нее я учился премудростям чести,
прямоте: да — так да
или нет — так уж нет!
Благодарен я ей, деревушке в залесье,
и за сказки ее, и за песни...
Ах песни!
Я люблю их и помню с мальчишеских лет.

То печальные, как завывание вьюги,
от которого — знаете? — дрожь по спине.
То веселые очень, как ливень в округе,
из-под радуги ливень. И гром в вышине!

Ох, как гнулись под песенки те
половицы!
Русский хмель — он такой:
коли бросило в круг,
надо пол проломить,
или об пол разбиться,
или высечь огонь каблуком о каблук!

Руки в стороны: — Эх! — Ходуном вся изба,
словно в этой избе не гульба — молотьба.

Не умела деревня — характерец чертов! —
ни вполсил работнуть, ни вполгорла
хлебнуть...
Я вас помню, гулянки, я знал вас, вечерки,
знал... И словом худым не хочу помянуть.

Худо, что ли, как кони летели по кругу,
пронося, словно радугу, полем дугу?!
Не могу я,
по памяти, словно по лугу,
проходя,
наступать на цветы, не могу!
Понимаю, что к старому нету возврата,
отзвенели твои бубенцы навсегда,
деревушка...
Но так ли уж ты виновата,
чтобы все зачеркнуть, чем жила ты тогда?!

Много дикости было?
Да, было. Допустим...
Но и все же, какой бы она ни была,
та деревня,
понятие гордое: русский! —
в полной мере она осознать мне дала!

Да, она! Хоть об этом ее не просил я.
Это после пришло... И когда я кричу,
что деревню люблю, — это значит, Россия,
я тебе в этом чувстве признаться хочу!

Ты иная сегодня. Ты в космос врубилась...
Но и громом ракетным встречая свой день,
я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла,
что когда-то ты вся началась с деревень.

ЧЕМ ОНА ПРОСЛАВИЛАСЬ

Моя деревня умерла,
моя деревня похоронена.
Там, где она свой век жила,
земля распахана была,
распахана и заборонена.

Снялись навеки с той земли
и, вскрикнув, улетели стаями
колодезные журавли;
сады над речкой отцвели,
дымки над крышами растаяли.

Ни памятника, ни креста —
голо́ на месте погребения.
Обозначают те места
смороды черной два куста,
рябина да береза белая.

Не в сказке — было наяву —
под той березой бабы плакали.
Клонили некруты главу,
и слезы девичьи в траву
при расставанье с ними капали.

В разлуке им еще родней
была береза подоконная:
солдаты помнили о ней...

Как и она бессчетно дней
в войну о них, конечно, помнила.

И вот — ни окон, ни дверей,
ни вскрика детского, ни шепота,
ни золотых ночных огней
в лугах, ни ржания коней,
ни песни в праздники, ни топота.

Лишь на песчаном бугорке,
в безлюдье
странные и лишние,
торчат, не призрены никем,
из диких трав в березняке
и вкривь и вкось кресты подгнившие..

Деревня, мы, твои сыны,
запомним, где ты горе мыкала...
Но из истории страны
ты, как бревешко из стены,
теперь навек, наверно, выпала.

А Русь — ее исток во мгле
веков — тобой ведь тоже ставилась!
Была тобою, в том числе,
сильна! И этим на земле
ты, только этим, и прославилась!

Нет у тебя других заслуг.
Но ведь и эта — не пустяшная!
Хотел бы я, чтоб знал мой внук
о ней... что я твой Светлый луг
косою в молодости кашивал.

В ГРОЗУ

Л. С. Попову

Была ли встреча с тучей грозовой
нежданной?
Нет, на западе гремело
уж с полчаса... Но вот и тут стемнело,
в лесу. И грянул гром над головой!

И началось!
Так низко над бугром
разряды электрические били,
что кроны сосен, кажется, искрили,
а с неба камни падали в пролом.

Все наверху ходило колесом!
Кипели тучи, снизу подгорая...

...И, голову пригнув, грибы теряя,
он ринулся из лесу,
потрясен.

И пропустил его сосновый бор
и роща...
Он прорвался на опушку
и через поле увидал избушку,
за ней — вторую,
и в сторонке — двор.

«Деревня!» — улыбнулся отпускник,
обрадован, что на деревню вышел.
Но впереди сверкнуло в этот миг —
и вспыхнул двор,
и взвился дым над крышей.

«Пожар! — он встрепенулся. — Где ж народ?
Попрятались? И сторож, видно, дремлет!»
И, страх забыв,
он бросился к деревне:
«По-жар!» —
И в улку — через огород,
и в тот конец, не веря сам себе,
что никого...
И с криками — обратно.

И вдруг увидел колокол набатный
на покосившемся столбе.
Решил:
«Услышат! Можно погасить...
Двор цел... еще и крыша не сгорела!»

И пробудилась медь, и загудела,
как в грозный час гудела на Руси!

Бам, бам! — звонил он,
мокрое лицо
то к небу обратив, то к тихим долам.
«Пожар, пожар! — кричал. — Эй, кто там дома?»

Но зря.
Никто не вышел на крыльцо.
Ни стар, ни мал...
Деревня на набат,
как говорят, не повела и ухом...
...Не знал он, что последняя старуха
в ней умерла шесть месяцев назад.

1980



*НЕ ЗНАЯ БРОДА**

С утра — работа не ждала —
Валерий принимал дела.
Знакомо было все. И просто.
И только круглая печать
легла в ладонь, как знак вопроса,
как сам вопрос: «С чего начать?»
Немного было за плечами:
лишь институт да две страды,
да малость радости вначале,
да через край потом беды.
Но в полбеды беда, коль рядом
начальство: вместе отвечать...
А тут — один себе... И надо
с чего-то все-таки начать.

Подумал: может быть, с земли?
А может, все-таки с народа?
Но мужики за эти годы —
он это знал — огни и воды
и академии прошли.

Район «хромал». И руководство
«в борьбе за мясо-молоко»
то жало на животноводство,
то что есть сил на птицеводство,
сбивая с толку мужиков.

*Из поэмы «Преодоление».

А то, забыв про все иное,
взывало: надо штамповать
горшки из торфоперегноя,
дабы начать преуспевать.

Трубило радио про эти
печальной памяти горшки,
статьи печатали газеты
о них, и местные поэты
писали бодрые стишки...

Едва свалили с плеч обузу,
взялись за дело веселей —
приспел поход за кукурузу,
за государыню полей.
Райком порол горячку: сеять!
И слал на помощь горожан.
А между тем никто доселе
ее не то что не сажал,
а и в глаза не видел сроду...

И все ж, как это ни смешно,
в поля, не глядя на погоду,
везли ее — не знали броду,
а лезли в воду все равно.
Где рано сеяли, где поздно,
старались глубже, для тепла,
могилы делали — не гнезда,
и кукуруза не взошла.

Хоть те участки в перепашку
пошли — беда не велика, —
но веру в дело — вот что страшно —
убили в сердце мужика.

А вот уж кто-то новым делом
увлечь колхозы норовит
(на гениальные идеи
иной как кролик плодовит).
И потому, видать, как только
вопрос о мясе встал всерьез,
поднялся этот самый кто-то
и слово «кролик» произнес.
Что прятать дело в долгий ящик?
Ведь это ж верный капитал!
И очень скоро дух кролячий
все школы даже пропитал.

Шумели: — Ох как знаменито! —
Ребят хвалили: — Молодцы! —
Но и кролячья плодовитость
не помогла свести концы.

Тогда взялись за укрупненье.
Вопрос поставлен был ребром:
— Что за колхоз — две-три деревни?
Тоска одна... —
И грянул гром!
Без писанины протокольной
сливали пашни и сады,
кто победнее — добровольно,
кто побогаче — от нужды.

А в общем весело и бурно,
и, глядь, уже иной колхоз
собой границы Люксембурга
в три раза с гаком перерос.
«Сосновка», правда, не держава —
всего лишь тридцать деревень,
а не объедешь тоже в день,
как бы лошадка ни бежала.

— И все ж, — решил Валерий, — надо,
пожалуй, с этого начать.
Поеду в дальние бригады! —
И встал. И запер в стол печать.

ИЗБА

Нет, изба не коврами
и теперь убрана.
Но зимой вечерами
все ж уютна она.
Не затем, чтоб похвастать, —
по привычке скорей, —
пол в ней радугой застлан,
домотканой, своей.
А в простенках — картины
(дорог сердцу уют):
десять штук на полтинник
их в сельмаге дают.
Выше — снимки служивых
висят на стене:
тех, которые живы,
тех, кто пал на войне.
Пал в неведомых далях,
в незнакомых местах.
Гимнастерки — в медалях,
мундиры — в крестах.

Рядом с Богом опальным
занимают места
в рамках грамот похвальных
три-четыре листа.

Что еще там? Портреты...
Русской печки бока...
И газеты, газеты
во всю ширь потолка.

Встанешь, вытянешь шею —
начитаешься — во! —
обязательств, решений
и стишков сверх того.

А еще среди ночи
слух твой вдруг различит,
как копытцем молочным
теленок стучит,
как ягнята на печке
в сенном кузовке
на своем на овечьем
говорят языке.

А под утро, под утро
из-под печки, горласт,
раньше, чем репродуктор,
кочет голос подаст.
И конечно же раньше,
чем проснется Москва,
в печке тихо, домашне
запылают дрова.

И затопают ноги
от печи до ворот:
меньше стали налоги —
больше стало хлопот.

На дворе чуть не десять
животов — поспешай:
на правленье надейся,
а сам не плошай!

Успевай где что надо...
Бригадир через час
постучится с нарядом,
тоже дело припас.
— Время! — скажет с порога,
строже день ото дня.
Слава Господу Богу,
что в отставке квашня,
что готовы всечасно
в магазине хлеба...

Между берегом частным
и колхозным
                    на части
так и рвется изба!

БАНИ ТОПЯТСЯ

Как под праздник, разом все
в огородах бани топятся.
Мужики домой торопятся:
наконец-то кончен сев!

Не грешно после страды
и попариться маленечко...
— А готовы ль, женки, венички?
А наношено ль воды?
Нам бы в баньку прямиком!
Десять ден, а может, более
умывались пóтом в поле мы,
утирались ветерком.

Пышут жаром у реки
бани. Веники окачены.
И штаны, в земле испачканы,
скидывáют мужики.
И, нырнув в жару, рычат,
чешут спины просоленные...
Как взрывчаткой начиненные,
камни в каменках трещат!

Ковш, еще два ковша
с ходу опрокинуты.
Веники вскинуты:

— Оттаивай, душа!
Ух, как хорошо! —
На полке устроился
и пошел, и пошел —
выше, ниже пояса...
А пар клубится
вокруг мужика:
— Подайте рукавицу,
не терпит рука!

Но буйствует веник,
но веник сечет:
вставай на колени,
сдавайся, черт!
И жжет и кусает
и грудь и бока
и на пол бросает
с полка мужика!

Ништо, отлежится.
Откройте-ка дверь.
Ему еще мыться,
тереться теперь.
Мазутные пятна
с мозолистых рук
и в бане, понятно,
отмоешь не вдруг.

Пышут жаром у реки
бани. Мыло в шайках пенится.

Спины трут себе, не ленятся,
трактористы в две руки.
Поперек и вдоль сто раз!
По домам идут как новые.
Там их ждут — давно готовые —
самовары на столах.

1960



ПЛУГ И БОРОЗДА

Всему начало — плуг и борозда,
поскольку борозда под вешним небом
имеет свойство обернуться хлебом.

Не забывай об этом никогда:
всему начало —
п л у г и б о р о з д а.

О, сколько раз мы —
век сменяет век —
успели утолить познанья жажду
с тех пор, как сделал борозду однажды
и бросил зерна в землю человек.

Растут, бессчетно множась, города,
Луна
людским становится причалом...
Начало ж остается все началом,
и суть его все та же —
б о р о з д а.

Не забывай о нем у пирога
и даже перед сном, смежая веки, —
как забывают о начале
реки,
раздвинув беспредельно берега.

И если стала близкой нам звезда
далекая,
скажи, не оттого ли,
что плуг не заржавел,
что в чистом поле
вновь обернулась хлебом борозда?!

Не забывай об этом никогда.

1971



И МОЯ ЗАСЛУГА!

Позволь отдать тебе поклон,
великое Светило,
за то, что в этот год теплом
ты нас не обделило!

Гляжу, идя вдоль полосы,
с каким усердьем в час росы
твои лучи-пройдохи
пшеницу тянут за усы
и за уши горохи...

Да и в саду с тобой в ладу
дела идут блестяще.
На редкость в нынешнем году
ты, солнце, работяще!

И в том, что нива не пуста,
что небывало рожь густа
и тянет медом с луга,
твоя, конечно, доброта,
но... и моя заслуга!

Ого, вставал я сколько раз,
когда еще ты спáло,
пахал уже, когда ты глаз
еще не открывало!

И в час, когда ты на покой,
устав, за лес валилось,
вовсю еще я за рекой
работал, ваша милость!

И как работал! Неспроста
в полях такая красота.
И за красу такую
дай, брат, в горячие уста
тебя я поцелую!

1960

ПЕРВЫЕ УРОКИ

Ликбез припомнился сейчас мне.
Тогда меж делом, на дому,
учились люди... Я причастен
и сам к учению тому.
По вечерам, как на работу,
заботу ведая одну,
я шел учить письму и счету
Авдотью – мельника жену.
Светились избы мутным светом.
Я шел, достоинство храня,
нарочно мимо сельсовета,
чтоб люди видели меня.
Совсем малыш еще, нимало
не обижался я на то,
что мне Авдотья помогала
и дверь открыть, и снять пальто,
даря при этом мне улыбку...
А я садился у окна
и ждал, покачивая зыбку,
пока обрядится она.
Я ждал. Она дрова носила,
гремела ведрами в углу,
потом брала на руки сына
и подвигалась с ним к столу.
Смолкал, на радость мне, маль
поймавши розовый сосок.

А я давал Авдотье книжку,
и начинался наш урок.
Урок. Теперь уж чувств тех самых,
наверно, я не передам,
когда впервые слово м а м а
она читала по складам.
Когда, старания и веры
полна, она в свою тетрадь
писала трудные примеры:
и дважды два, и пятью пять...
Мы с нею многое умели,
мы с нею многое могли.
Но приходил с работы мельник,
весь, до бровей, в мучной пыли.
Авдотья тотчас убирала
свою тетрадку и, пока
он мылся, быстро накрывала
нехитрый стол для мужика.
— И ты поел бы, скоро — восемь... —
И угощала пирожком.
И подпоясывала после
меня отцовским ремешком,
совала в руки мне конфетку...
И я, идя домой, опять
решал, какую же отметку
Авдотье выставить в тетрадь...

1960

«ЗАКУРИТЬ — ДА БЕЖАТЬ»

Жил-был мужичок (не припомню, как звать)
по прозвищу: «Ну, закурить — да бежать».

Бывало, проснется — росу опекло.
И бабы, с серпами уйдя за село,

уже по суслону успели нажать...
Зевнет он: «Хо-хо! Закурить — да бежать».

И тотчас же, лежа еще на боку,
возьмет из кисета щепоть табаку

и трубку набьет, как богатый сосед
под осень зерном набивает сусек.

Зажжет, запалит, задымит в две ноздри —
хоть лопни от зависти, черт побери!

Бывало, подымется солнце в зенит,
а трубка не гаснет, а трубка дымит.

Заборист, пахуч самосад-табачок!
Так с трубкой в зубах и встает мужичок.

Чего-то попьет, пожует на ходу
(известно, как дорого время в страду!) —

и в поле, взяв трубку с собой да кисет...
Родится ж такой «торопыга» на свет!

Однажды, едва он засел за обед,
в окошко к нему постучался сосед:

«Пожар, понимаешь... беги! — говорит. —
Овин у тебя, понимаешь, горит!»

Мужик поперхнулся, в окно поглядел,
остаток похлебки из блюда поддел,

подумав: «Беда-то какая опять».
И трубку достал: «Закурить — да бежать!»

Народ за деревню, к овину народ,
а он еще только с ведром в огород.

Воды зачерпнул, прибежал. Посмотрел —
овина-то нету... Сгорел!

...Я вспомнил о нем, просидевши вчера
в колхозной конторе часа полтора.

1959

*КИРЮХИНО ПОХМЕЛЬЕ**

Час похмелья — Нюшкин час.
Нюшка словно порох!
Подвернется таз:
р-раз!
И скосит на мужа глаз:
«Пусть встает, боров!»
Два! — ведро заодно
катится от Нюшки.
Дверью хлопнет — все равно
выстрелит из пушки.
Хлопнет так, что кирпичи
шевельнутся в печи,
дрогнут стены дома.

Мертвый, кажется б, вскочил
от такого грома!

Но Кирюха — черта с два! —
он хитрей, Кирюха:
у него голова
и еще два уха!
Сплю, мол, сплю, — сделал вид.
Ну, а сам чует,
как жена его костит,
языком врачует.

*Из поэмы «Против неба на земле».

— У, пьянчужка! — берет
за больное место. —
Рот-то шире ворот
на вино, известно!
За сто верст — помахать
«белою головкой» —
побежишь... Ох, связать
всех бы вас веревкой,
всех, надежной, одной,
во главе с Крестовым, —
да и в омут головой,
не мешали чтобы
жить...

Кирюха лежит
неподвижней смерти.
Муха под носом жужжит —
все равно терпит.
Поднимает пыль ноздрей
с половицы шаткой,
лишь ресницами порой
шевелит украдкой.

Поскорей бы из избы
черт унес Нюшку,
чтобы встать, раздобыть
где-нибудь чекушку.

Наконец, еще разок
дверью хлопнув лихо,
Нюшка вышла за порог,
и в избе («Всему свой срок!»)
сразу стало тихо.

— Все, встаю! — открыл глаза
и от пола голого
оторвал сначала зад,
а потом уж голову.
Сел на стул, как прирос,
смотрит истуканом.
Пачку мятых папирос
отыскал в карманах,
закурил не спеша —
все равно горит душа
и в башке разряды...

Денег в доме — ни гроша,
а лечиться надо.

Аж губу прикусил,
занят мыслью грешной...

В долг — проси не проси —
ни за что, конечно,
не отпустит продавец...
Сдай, мол, магазину
шерсть, к примеру, с овец
аль яиц корзину,
и тогда — пятью пять —
пей хоть до упаду!
Мне, мол, план выполнять
все одно надо.

Вот и весь разговор...
В сердце боль тупая.

И выходит он во двор,
тяжело ступая.
Свет не мил.
В душе — тоска,
а на лбу испарина.
Шерсть — ту нечего искать:
раньше отоварена.
И «расчет» за то сполна
получен от Нюшки.

Но... еще статья одна
не исчерпана до дна:
курицы-несушки!

И Кирюха с головой
погрузился в дело:
ларь обшарил в кладовой,
действуя умело,
все поставил вверх дном,
все углы оползал,
распалясь, заодно
заглянул и в гнезда.
— Все... — И сел на сундук,
и вздохнул: — Мало... —
Девятнадцати штук
ровно не хватало.

Вдруг — он даже привстал! —
вспомнил, что два воза
бабке Дарье давал
со двора навоза.

— Надо ж, чуть не забыл! —
выдохнул Кирюха.
...Два шага до избы,
где живет старуха.

Постучался, за порог
переставил ногу:
— Аль жива?
— Жива, сынок...
— Ну и слава богу!

Сел, волнуясь слегка,
глянул из-под козырька.
Начал издалёка,
с тонкого намека:
— А у тя, брат, сейгод
огород — не огород,
загляденье просто!
Глянь, ботва-то как прет!
С человека ростом!

Помолчал: дошло иль нет?
Не дошло. И снова:
— Мол, тебе сколько лет,
Дарья, а здорова.
У меня ж со вчера
в теле лихорадка...

— Болен — есть дохтура, —
увильнула бабка. —
Соберись-ко, сынок,
да и марш в город! —

И, отставив чугунок
от огня на шесток,
глянула с укором: —
Все гуляешь, Кирилл,
все шумишь, слышу.
Ты бы лучше починил
на избе крышу.
Нюшка баяла, худа
крыша-то, вся в дырах...

— А чинить-то мне когда?
Коли в дождь — так сыро,
а коль солнышко печет —
так она и не течет,
и не каплет, значит...
Зря Анютка плачет!
Зря и ты завела
разговор о крыше...

Бабка сплюнула со зла:
— Бес ты! — Трешку подала,
и Кирюха вышел.
Вышел, брошенных вдогон
дополнений слушать
не желая: дескать, он
не жалеет Нюшку.
Дескать, он не в отца.
Батька — помнят люди —
в праздник не пил так винца,
а не то что в будень...

Продавец — в его ларьке
от бутылок давка —
Кирю с трешкой в руке
встретил у прилавка:
— Вот теперь, пятью пять,
пей хоть до упаду.
Мне ведь план выполнять
все одно надо.

Взял бутылку Кирилл,
а еще, для плана,
пару пряников купил,
попросил стакана.
Потекло по усам,
да и в рот попало...
Но не стал пить все сам,
угостил Степана.
— Не... не пью! — сказал Степан.
— Ха! Теленок тоже
не пил, не пил, да и пал,
а ведь пил бы — пожил!

Сдался тот наконец.
А потом горькой
взял и сам... Продавец
улыбнулся только.

И обоих за дверь
выставил без грома:
мол, все... Мол, теперь
продолжайте дома.
У меня не ресторан,
братцы, не чайнуха.

И пошли они – Степан,
а за ним Кирюха.
И пошли – в руке рука,
ноги заплетая.
И была им узка
улица родная.
До избы не добрались,
сели под забором.
«Я люблю тебя, жизнь!» –
затянули хором.
И еще: «Не за так –
за свои мы пили!»

...Спал Кирюха в кустах,
а Степан – в крапиве.

ДЕРЕВЕНСКОЕ СОБРАНИЕ

Деревенское собранье
(деревенское — заметь!)
я люблю, скажу заране.
Я готов на нем сидеть,
коль случится, до полно́чи,
не вставая, как в кино.
Да оно, сказать, короче
не бывает все равно.

Коли добрая погода,
полусонные с тоски,
на собрание приходят
первым делом старики.

На порог садятся, на пол —
до собранья битый час, —
молча скручивают в лапах
тридцать три цигарки враз.
Курят мирно. Ожидают
баб: нельзя теперь без баб!
Ну, а тем напиться чаю
прежде надобно хотя б,
сделать кое-что по дому,
коровенок подоить.
Кто их в этом деле, вдовых,
к слову, может заменить?!

Наконец, приходят. В кофтах,
сшитых с милой простотой,

не обижены ни ростом,
ни, конечно, широтой.
И садятся: Марья с Настей,
рядом, ладом — дочь и мать.
И верховный орган власти
начинает заседать.

Ух, собранье! Негде плюнуть,
негде яблоку упасть!
Ну, а ежели подумать —
потому оно и власть!
Тут речей не произносят,
тут, коль надо, говорят.
Тут за правду — кровь из носа,
тут в беде — за брата брат!

Как навалятся все вместе,
как поглаживать начнут
против шерсти, против шерсти —
взмокнешь весь за пять минут!
Что ни худо, где ни слабо —
виноваты мужики.
Ох и бабы, ну и бабы —
жала, а не языки!

Председатель стукнет, брякнет
по графину, по столу:
мол, давайте по порядку,
мол, потише там, в углу!
Смолкнут резко «автоматы».
— Кто желает? — Тишина.
Смысла нет: у виноватых
без того горит спина...

1959

ЧЕРЕМУХА НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ

Ее, молодую, из лесу когда-то
хозяин в деревню принес на плечах.
Он вырыл ей яму железной лопатой,
он полил ей корни водой из ключа.
И встала черемуха рядышком с домом,
и любо ей было занятье одно:
мести по карнизам зеленым подолом,
пахучей метелью швыряться в окно.
Да терпкие ягоды — много ли, мало —
дарить ребятишкам в ладони... Но вот
однажды ни окон, ни дома не стало,
один лишь бурьян по соседству растет.
Куда ни протянет черемуха руки —
зовущие руки — кругом пустота.
Ей снятся калитки знакомые звуки,
ей грезится окон резных высота,
и песня про горы златые, и говор
из окон, и хромки лихой перебор...
Вот так и хозяин, уехавший в город,
наверно, тоскует о ней до сих пор.

1958

ЗЕРНО

В чем суть зерна? Ужели в том, чтоб стать
в конце концов, как все живое, прахом?
Нет, суть его в другом: произрастать!
И лучше всех об этом знает пахарь.

В амбаре, на неструганых досках,
зерно,
когда белым-бело в округе,
томится неизбежностью ростка,
ждет часа своего под шорох вьюги.

Весною пахарь, как заведено,
на поле, где грачи кричат картаво,
зерно посадит в почву, и оно
произрастет.
И будет в этом право!

Что в мире веселей, чем зеленя?!
Что есть еще
возвышенней, чем всходы?!
Вот-вот колосья выстанут, звеня...

И лгут, что все зависит от погоды!

1973

ОСЕНЬ В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ

Сквозь чащу леса поределую,
один, за ветром по пятам,
пришел вчера я в рощу белую,
а там — гуляние... А там
березы водят хороводы:
октябрь — а им и горя нет!
И, мать честная, вижу — мода
и у берез на рыжий цвет,
и у осин...
Над всем пространством
и бронзы отблеск и огня.

Лишь ели с мудрым постоянством,
темнея, смотрят на меня,
как будто шепчут: ненадолго...

Но их не слушают, легки,
березки. Сыплют из подолов
на плечи елям пятаки.
Сорят налево и направо:
мол, все равно идут года.
То было рано, было рано,
а будет поздно — что тогда?!

И принимаются раскачивать
опять свой белый гибкий стан,
от чувств пьянея нерастраченных,
пустив по ветру сарафан.

А то, обнявшись, станут парами
и зябко песню заведут,
как на деревне девы старые,
что все еще чего-то ждут...

1963



ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Громобойные тюки
на бока навьюча,
на луга из-за реки
накатилась туча.
Заняла — ну и прыть! —
небо все в два счета
и пошла нас бомбить
с птичьего полета.

Ну а мы ей: «Дуй!
Поддавай жару!
Нам такой сабантуй
по душе, пожалуй.
Ведь без ливней да гроз,
без тревог, без пота
сенокос не сенокос,
черная работа».

По морям, по волнам
мы бредем босые.
Ой, не крикнуть ли нам
да на всю Россию:
«Дождик, дождик, пуще,
чтобы травка гуще,
чтобы выше лен, чтобы
хороводами грибы,
ягоды кистями —
собирай горстями!»

Дождь, дождь, припусти,
ваше благородье,
чтоб успело подрасти
все, что в огороде.
Чтобы встали под горой,
крякнув: «Все в порядке!» —
новобранцами в строй
кочаны на грядке.

Расплеснись по полосам,
поднеси напиться
пострадавшим овсам,
ячменям, пшеницам.

Заряди на три часа,
чтоб не было мало,
чтоб не только по усам,
чтобы в рот попало!

Дождик, лей, лей, лей
на меня и на людей!
Что касается меня —
лей, товарищ, хоть полдня,
я не поперечу.
Я рубашку скину:
полощи мне плечи,
полощи мне спину.

Наклонюсь: «Вот добро!
Ну, еще кружку!
Ну, еще одно ведро!
Ну, еще кадушку!

Не скупись, брат! Уважь!
Я ж таскал копны...»

И вошел дождик в раж
и в сто ног топнул
на моей на спине.
Брызги из-под пяток!

Ох и весело мне
под дождем, ребята!

1966



ЧТО ПОЧЕМ?

Шурочка уже не молода,
за спиною пять десятков — полных.
Шура совершенно ясно помнит
даже довоенные года.

Мать тогда жила одной заботой:
с финагентом — пусть и нелегко —
завершить по осени расчеты:
мясо с д а т ь, а пуще — молоко.

Девочкой, на пару с младшим братом,
Шурочка таскала каждый день
это молоко на сепаратор —
тарка — и не маленькая — всклень.

И потом, когда хозяйкой стала,
выйдя замуж,
Шурочка, как мать,
долго молоко еще с д а в а л а,
да и мясо — тоже, и немало,
а вчера вот вздумала п р о д а т ь.

Разузнав, что утром две машины
в город побегут порожняком,
Шурочка решила, нет, р е ш и л а с ь
распрощаться вечером с бычком.

Аж всплакнула...
Очень жалко было
чуть заматеревшего бычка.
Сколько хлеба баловню скормила,
выпоила сколько молока!

Сколько трав кругом перекосила
и перетаскала в кузовке!..
Внучке не сказала:
та любила
встретить Рыжку с корочкой в руке,

угостить, а после на привязке
увести его за городьбу...
Очень был красив он — рыжей масти,
с белоснежной звездочкой во лбу.

Рос он, матерел, опережая
внучку; рос, резвился на лужке.
...В город чуть не затемно въезжали:
быстро докатили налегке.

Баба деревенская, известно,
с незнакомым делом не в ладу,
Шурочка едва успела место,
взяв весы, занять в мясном ряду.

Рубщик, за хороший оковалок
(«Дай», — сказали дома мужики),
с толком — поняла —
не как попало,
разрубил полтуши на куски:

Хватит, мол, покудова...
В заначке
кое-что, мол, надо придержать.
И пошла она решать задачки,
прибавлять, делить и умножать...

Продавала прочих не дороже,
к людям уважения полна.
Покупали. Но иные все же
ахали — не нравилась цена.

До чего ж они ее смущали,
эти «ахи»! Словно все подряд
в чем-то нехорошем уличали
Шурочку...

Она, потупив взгляд,
тыкалась руками по прилавку,
злость в душе стараясь погасить:
«Ох, послать бы вас, гражданки,
травку
покосить... да копны поносить!

Да стожок сметать на мокрой пожне...
Думаете, милые, легко,
если ночью дождь и утром дождик,
а до пожни вон как далеко?»

Промолчала: «Ладно».
Этим часом,
потеснивши прочих у стола,

к Шурочке (да скажем прямо: к мясу!)
дама с модной сумкой подошла
и сказала:

«Будет вам кричать-то
(этакий приятный голосок!)...
Взвесьте мне... — И пальчиком в перчатке
указала: — ...этот вот кусок.
Только кость уж... —
изогнула спину, —
уберите!» Ну а Шура ей:
«Без костей не вырастишь скотину...
Вон, изволь, картошка без костей».

Как уж сорвалось — сама не помнит —
с языка... Но раз уж сорвалось —
всё, считай... Считай теперь, что кони
понесут — лишь пыль из-под колес!

«Без костей ей мяса надо, глянь-ка!..
Мясо, значит, ей, а кости — мне!»
И вскипела дама:
«Спекулянтка!
По такой, подумайте, цене
продает — и... Как тебе не стыдно?!»
«Стыдно-о?!» — краска бросилась в лицо
Шурочке: в тот миг до слез обидным
показалось это ей словцо.

«Это мне за что же стыдно, краля? —
гирьки расшвыряла по местам. —

Не за то ль, что вы поудирали
из деревни, ну а я все там?

Или, может, стыдно мне за это?.. —
руки — две лопаты — подняла, —
...что с бычком валандалась все лето?
...что тебе же мяса привезла?!
Вишь какая ты! Тебе бы пенку
снять...» —
«Мели, мели!» —
«Я не мелю!
А за «спекулянтку»
и копейку,
краля, я тебе не уступлю!

Чтобы ты, когда сюда я снова
привезу товар свой через год,
припасла бы мне другое слово,
например, спасибо!
Так-то вот!»

...А наутро вся деревня знала
это. Похохатывал народ:
Шура, дескать, полностью сдавала
сдачу! Всем! Чтоб знали наперед!

А один, за Шурочкой победу
числя, бросил:
«В будущем году
я на рынок с Шурочкой поеду!
С нею-то уж я не пропаду!»

1980

ЗАВЕТ

Помню:
дед, оставив ручки плуга,
говорил нам (градом пот с лица):
— Можно обвести вкруг пальца друга,
изловчившись, можно и отца;
можно обмануть свою невесту,
и жену, и мать, коль нет стыда, —
землю же — да будет всем известно, —
землю не обманешь никогда!
Что-то
ты, бывает, не доделал.
«Ладно, — порешил, — и так сойдет».
— Не сойдет! — круглились очи деда. —
Нет! Земля всему ведет свой счет!
Верно, что она, родная, кормит
всех, бездонный вроде бы сосуд.
Что ни лето — корни, корни, корни
грудь ее могучую сосут.
Разом все,
а ей, земле, урона
никакого: глянешь — красота!
Это коль сама она здорова,
а здорова — значит, и сыта.
Накорми — хоть есть она не просит,
дай ей, что положено, сполна —
чистоганом —
золотом колосьев
выплатит задолженность она!

1980

НЕ ЗАБЫЛОСЬ

Вся в поту, в пыли, простоволоса
(кожа облупилась на носу),
Анна в этот вечер с сенокоса
поздно приплелась — в восьмом часу.

Дочь, что отсидела день в конторе,
встретила Анюту у ворот:
— Горе мне с тобой, маманя, горе! —
Подала напиться. —

Ну, народ!..
Эдак хрястать! Эдак убиваться
из-за чашки-кружки молока!
Вспомни. Ведь тебе давно не двадцать...
Пенсия — пускай невелика —
у тебя...

— Какую заслужила!
— Так скажи — поможем! Ты же — мать!

Руки на колени как чужие
бросила:
— Не надо помогать!
Я еще сама могу. Не надо...
Для тебя обуза — скот держать,
ну а для меня большая радость
сена Кукле с вечера задать...

Да, сенца хорошего, какое
я гребла сегодня на лугу...
Нет уж, дочка, жить, как ты, в покое,
извини меня, я не смогу.

Ты, коль речь заходит о корове,
нос воротишь в сторону: навоз!
Да и запах, вредный для здоровья,
да и дуроломный сенокос...

Ну а я, когда скажу «корова» —
пред глазами девочка одна
с полной кружкой теплого, парного...

Только год, как кончилась война.

Голод. Хлеба в доме ни кусочка.
Девочка весь день возле стола
плачет: «Мама, хлеба!»
Слышишь, дочка:
девочкою этой ты была!

Если б не коровушка в ту пору
(я-то знаю это, я ведь мать),
нашему с тобою разговору,
как сейчас, вовеки б не бывать!

Так что закрывай свое собранье,
душу не трави зазря мою...
Лучше полежи вон на диване,
я тем часом Куклу подою.

1980

ДУМЫ ПАХАРЯ

— ...А о чем
размышляешь ты, пахарь, когда,
в чистом поле оставив орудья труда,
наконец засыпаешь, угревшись в тепле?..
— О земле.

— Ну а после,
в предутренний час тишины,
когда ты надеваешь, зевая, штаны,
а деревня, и поле, и лес — все во мгле?..
— О земле.

— А в обед,
обретя наконец-то покой,
когда ложку берешь ты одною рукой,
а другой — свежий хлеб, что лежит на
столе?..
— О земле!

Очень думы мои широки:
от реки,
где в покосах мои интересы,
до леса,
из которого ходит медведь на овсы
в те часы,
когда влажны метелки овса от росы
и ни звука во всю ширину полосы...

— В чем, по-твоему, пахарь,
земли красота?
— В тучном хлебе, которым она занята!

И зимой моя дума об этом,
и летом,
с ней я в поле на тракторе еду
с рассветом...

Ведь красива земля —
в этом нету секрета! —
та, что сердцем — не только лучами —
согрета!

Сердце ж копит тепло лишь тогда,
когда рядом
уживаются в нем
и забота и радость.

1973

3





1961 г.

В ТОТ МИГ

Ю. Бондареву

Когда в последний раз мы разрядили
стволы всех наших грозных батарей,
мир замер, ахнув:
«Все же победили!»

В тот миг он озадачен был скорей,
чем изумлен:
великую загадку
явил собой наш воин!
Где ответ!

А он, устав смертельно, сбросил скатку.
Спиной к рейхстагу сел,
достал кисет
и, угощая тех, что подходили,
махрой, как будто дома, у крыльца,
сказал негромко:
«В о т и п о б е д и л и!»
И не добавил больше ни словца.

И тот, кто ясно слышал эту фразу,
уж ни о чем и через много лет
не спрашивал нас более ни разу —
она дала ему на все ответ.

1979

КОГДА СЫНОВЬЯ НА ВОЙНЕ

Матери, Екатерине Васильевне

Приеду к ней, бывало,
рядом сяду
и — как же, мол, в войну-то ты жила?

— Да как... — вздохнет. — Четыре года кряду
все плакала, все слезыньки лила.
Как грянуло —
от Коли ни словечка...
А я все жду. А я креплюсь и жду.
Увижу почтальоншу — на крылечко
бегу встречать: не верую в беду.
А ночью лягу —
кровь, все кровь мне снится.
Толкую сон: «О доме затужил...
Живой...»
А немцы, слышу, у столицы.
А Коля — в пограничниках служил...

От батьки-то в те дни как раз,
помята,
пришла-таки писулечка одна.
«Ох, где-то наши, Катенька, ребята?
Увидимся ль, как кончится война?»
И все... И больше не было ни строчки.
И скрашивали боль мою и грусть

твои — я получала их — листочки,
я их читала бабам наизусть.

А если не писал и ты, Сережа, —
не знала я, куда себя мне деть...
Одно лишь оставалось мне — о боже! —
на ваши фотокарточки глядеть.

Вот прибегу растрепанная с поля —
и к карточкам, лишь двери отворю:
«Сережа, добрый вечер. Здравствуй, Коля.
И Вася, тоже здравствуй», — говорю.
Одну, другую карточку с комода
сниму...
А в горле ком — не проглочу.
И так вот день за днем — четыре года:
то плачу, то работу ворочу.

А бабы — им не все же горе мыкать
(его хватало, горюшка, на всех) —
наладятся в какой-нить праздник выпить,
да с пьяна-то забудутся — и в смех.
А мне так дико это все — ушла бы!
И грудь теснит —
вот-вот сорвусь на крик:
«Да как вы это можете-то, бабы,
смеяться-то?! А вдруг да в этот миг
кого-нибудь из ваших ненаглядных
убило?! Крикнул: «Мама!» — и затих...»
А отойду: «Смеются — да и ладно.

Поплакать
будет времечко у них...»
И верно:
редкий день без причитанья.
Услышишь — аж мурашки по спине!..
Нет матерям страшнее испытанья,
чем то, когда их дети на войне.

1972



ПОСЛЕ ВОЙНЫ

М. Дудину

В день святого Пантелеймона
(впрочем, тут ни при чем святой),
повернувшись спиной к иконам,
пили женщины — дескать, что нам! —
мутной браги хмельной настой.

Угощали друг друга рьяно,
грубо, попросту, по-мужски.
Пели звонко, плясали пьяно
и смеялись до слез. С тоски.

А тоска велика, без меры.
Встанут в круг, подперев бока, —
сами дамы и кавалеры,
ни единого мужика.

Ну, хотя б один завалящий,
даже пусть инвалид какой.
Покурил бы, коли курящий,
уцелевшей обнял рукой...

Нету! Даже за гармониста
(научила всему нужда)
тоже баба — толстушка Христя,
радость горькая и беда.

Ах, и что за гармони были
раньше — Христиной ли чета!
Где те парни? Одних убили.
А другие ушли, забыли
эти северные места.

Пляшут женщины: — Ах вы, сени!
Пой, тальяночка, норови! —
Шумно в горнице, а веселья —
нет веселья, хоть впрямь реви.

Может, с песнею вдоль посада
им пройтись бы — рука в руке —
и себя и свои наряды
показать бы — да перед кем?
Ходят улицей, крутозобы,
только куры да петухи...

Трудно: где же вы, хлеборобы?
Скучно: где же вы, женихи?

1958

ВОСПОМИНАНИЕ О ВЕСНЕ 1947 ГОДА

Солнечно. Снег ноздреватый и старый
тает, как будто горит.
Лес, на ветру разминая суставы,
черный покуда стоит.

Сосны кой-где зеленеют да елки.
Влагой вскипают ложки.
Русские бабы разбитым проселком
тащат на спинах мешки.

На лошадях бы в такую дорогу —
пусть отдыхают пока...
Ждали: придут мужики на подмогу —
два лишь пришли мужика.

— Ох, упаду я, наверно, Анютка,
в глазыньках стало темно. —
Русские бабы в дырявой обутке
тащат на спинах зерно.

(Груз дорогой был доставлен на пристань
с первым гудком на реке.)
Верст шестьдесят до колхоза — не близко,
даже когда налегке...

— Горстку сжевать бы... Ты слышишь,
Елена?
Горсть?.. — Не дразни, сатана! —
Русские бабы, в грязи по колено,
тащат в мешках семена.

Ну и дорога... Все круче и круче.
Вот наконец и ночлег.
Сунут в печурки сырые онучи,
вынут из торбочек хлеб —
черные,
с примесью всякой,
кусочки...

Молча присядут к столу
и, повечеряв с крутым кипяточком,
лягут впокат на полу.

Утром
(«Ой, нет не больного местечка!»)
еле поднимут мешки
и терпеливо начнут от крылечка
трудные мерить шажки.

...В полдень, у склада, Рожкова Надеха,
что возглавляет колхоз,
встретит их: — Господи! —
скажет со вздохом. —
Кажется, прибыл обоз...

1980

ВОРОНЫ

Шел третий год после войны.
В июле, по обыкновенью,
Ища желанной тишины,
Приехал я в свою деревню.

Иду однажды налегке
по-за околицей и вижу,
как,
    по-мужичьему бестыже
ругаясь, с палкою в руке
гоняет птичница ворон:
– На вас бы, прóклятые, пушку! –
И вдруг ко мне:
– Опять урон!
Опять угробили несушку!
Шугаю вот, а толк каков?!
Ну, если б ястребы, так ладно...
Не стало, видишь, мужиков –
вот им и сделалось повадно.

– Как так? – спросил я, удивлен,
нет, даже вскрикнул, не поверив. –
Чтоб куры гибли от ворон?!
От этих гадких? Этих серых?!

— Да, милый, я тебе не вру.
Сама дивуюсь: то ли куры,
как говорят, и вправду дуры,
то ль, как у многих на миру,
у них трусливые натуры?
Едва ворона два крыла
распустит, глядь — уже иная
со страху будто умерла,
и не шелохнется, дрянная!
Присядет этак вот, жалка,
и ждет, и ждет свою судьбину...

А эта серая карга
ей преспокойненько на спину
и клювом — тук! — по голове.
Тут ей, простушке, и кончина.
Идешь — валяется в траве...
Ты попугал бы их, мужчина!
Ведь на мое, на бабье «кыш!»,
на трепыханье юбки в раже
они взирают нагло с крыш,
не шевельнув крылами даже.

Я снял двустволку со стены
и, яростный, вогнал патроны
в ее тяжелые стволы:
«Ужо вам, серые вороны!»
К курятнику по борозде
подкравшись, встал возле куста я
и выглянул: «Так вот ты где
пируешь снова, вражья стая!»

Сверкнул огонь из двух стволов —
и грянул гром! Свершилась кара!
И начался переполох
среди их серого базара.
И понеслось на крыльях: «Кар-р!» —
через реку, через болото...

Швырнул я — точен был удар —
одну из серых за амбар
и в тишине промолвил:
— То-то...

1971

БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ

Я помню: мы вышли из боя
в разгар невеселой поры,
когда, переспевшие, стоя
ломались хлеба от жары.

Ни облака в небе, ни тучи.
Не чая попасть на гумно,
слезой из-под брови колючей
стекало на землю зерно.

Солома сгибала колени,
как странник, уставший в пути...
В Ивановке — местном селенье —
Ивáнов — шаром покати!

Авдотьи кругом да Орины,
короче — солдатки одни.
И видим: еще половины
хлебов не убрали они.

Уставшие — шли не с парада, —
не спавшие целую ночь,
мы все же решили, что надо
хоть чуточку бабам помочь.

И тут же, по форме солдаты,
душой же все те ж мужики,
мы сбросили пыльные скатки,
составили в козлы штыки.

И в рост — во весь рост! —
                                        не сражаться
пошли, — нетерпеньем горя,
пошли со снопами брататься,
в объятья их по три беря.

Мы вверх их вздымали, упрямы,
и запах соломы ржаной
вдыхали, хмелея, ноздрями
на поле, бок о бок с войной.

И диву давались: когда-то,
еще не начав воевать,
от этакой вот благодати
мы даже могли уставать...

Сейчас же все боле да боле
просила работы душа.
И мы продвигались по полю,
суслоном чубы вороша.

Мы пели б —
                        наверное, пели б, —
работу беря на «ура»,
когда бы ребят не жалели,
схороненных нами вчера.

Им было бы так же вот любо,
как нам, наработаться всласть,
и сбросить пилотки, и чубом
к снопам золотистым припасть.

Вдохнуть неостывшего зноя,
и вспомнить на миг в тишине
родимое поле ржаное,
и, может, забыть о войне.

Забыть, что фашист наседает,
забыть, что у края жнивья
винтовка тебя ожидает,
а вовсе не женка твоя.

Но было забыть невозможно.
Платки приспустивши до глаз,
тоскливо, печально, тревожно
глядели солдатки на нас.

Им виделась жатва иная...
Они из-под пыльных платков
глядели на нас, вспоминая,
конечно, своих мужиков.

А мы все ломили работу,
носились, не чувствуя ног,
седьмым умывалися потом
в последний, быть может, разок...

И слепли от этого пота,
И очень боялись, вот-вот
раздастся жестокое: — Ро-та! —
И все, словно сон, оборвет.

1964

*ВОСПОМИНАНИЯ**

— Гей вы, ну ли! — И вдоль посада
кони ринулись, не унять.
Сани кованые, что надо.
Дуги крашеные — на ять!
А на дугах — «скупиться неча!» —
ленты шелковые кипят.
Звон бубенчиков, блеск уздечек,
суматошный галдеж ребят.

Встречный ветер до боли жалит,
ветер жжет лицо без огня.
В шубах, в валенках, в толстых шалях
чуть подвыпившая родня.
А жених — ни к чему и шуба! —
словно в жаркий день во саду,
знай целует невесту в губы
у всего села на виду.
Обнимает ее, бесстыжий:
«Пусть завидуют, пусть глядят!»
Алым мехом да чубом рыжим
гармонист ослепил девчат.

Деревенские бабы чешут
от безделия языки:
— Ну и парень же, ну и леший!
Вот как женятся нонь сынки.

*Из поэмы «Трудное счастье».

Ни венца, ни божьего страху:
полюбилась — и покатил.
Эку, гляньте, повез деваху,
эку умницу окрутил!
Проворонили, проглядели
Нюшку наши-то молодцы...

Анна Павловна! Неужели
это было?
                    И бубенцы
пели, белые от мороза,
над тобою —
                    слезу утри —
от «Звезды» — твоего колхоза —
и до самой его «Зари»?

Было! Так же ушами прядал
на бегу жеребец шальной.
И сидел, улыбаясь, рядом
тот, который тебя отрадой
звал пока лишь, а не женой.

Как ты, Анна, его любила!
Взгляд отчаянный, чуб черён.
Очень много красивых было
на селе, да не так, как он!

Все дивились, как рядом шли вы,
замечали за полверсты.
Много было девчат счастливых
на селе, да не так, как ты!

Тетки пели тебе: — Обиду
зря родителям не чини.
Пореви хоть чуть-чуть для виду,
буйну голову наклони!

Ты не спорила, нет. Однако
не могла реветь все равно.
Разве могут глаза заплакать,
если сердце счастья полно!

Без оглядки, легко и смело,
перешла ты чужой порог
в платье свадебном, в платье белом,
и смеялась потом, и пела,
и плясала, не чуя ног!

Не могла ты знать и не знала,
каблуками стуча дробней,
что у вашего счастья мало,
очень мало в запасе дней.

Что вам горе несет обоим
грозовой сорок первый год,
что лежит уж давно в обойме
пуля та, что его убьет.
Что война уже на пороге...
(И добро, что нам не дано
знать, с какою бедой в дороге
завтра встретиться суждено.)

Отметелила в поле вьюга.
И опять загудел колхоз
отшлифованной сталью плуга,
сталью гусениц и колес.
Пахло лето здоровым потом,
стружкой, скошенною травой.
По земле ходила Работа
с гордо поднятой головой!
Многорукая — еще дома
были парни и мужики.
Развеселая — еще вдовам
не носил почтальон листки
с черной рамкой...

Ты помнишь, Анна
(память та тебе дорога),
как вставали вы раным-рано,
молодые, и шли в луга;
как свистели, росой омыты,
косы ваши... И как потом
первый, общим трудом добытый,
хлеб насущный вносили в дом?

Силой хвастая молодою,
ставил муж мешок «на попа»,
брал и нес его пред собою,
шаг нарочно не торопя.

Руки мужа! Они носили
и тебя. И в кольце тех рук
очень маленькой и бессильной
становилась ты, Анна, вдруг.

Эти руки могли бы гору
с места сдвинуть!
Все было в них:
ласка добрая, и опора,
и защита от бед лихих.
И когда их не стало,
сразу
там, где трудно было двоим,
дело всякое без отказу
стали делать руки твои.

Ох, как ныли они! А ночью
непослушным карандашом
выводили кривые строчки:
«Милый, я живу хорошо.
Ты не думай...» А на подворье
сорок дел и во всем нужда.
Хватит, память!.. Хлебнули горя
полной чашею все тогда...

Ну-ка, дед, натяни поводья!
Ты лети, вороной, лети!
Сколько солнца в тайге сегодня,
Анна Павловна, погляди!

Ели плавятся, словно свечи,
сосны вскинули шапки ввысь.
Ветер резче ударил в плечи...
— Эй, прохожий, поберегись!

НЕ ПРИШЕДШИМ С ВОЙНЫ

...И только председатель молвил слово,
что надо б в память тех, кто отдал жизнь
в войну, кого ни матери, ни вдовы,
состарившись, домой не дождались, —
какой-нибудь хоть памятник поставить
(«Пришла пора: не так уж мы бедны!»),
как зашумели все. И даже встали,
в ладоши дружно хлопая:
— Должны!
— Чего там говорить... —
И Пелагея
пробилась тоже к сцене, к кумачу
и подала, что было, не жалея:
— Возьми-ка... — прямо в руки Кузьмичу.

Все знали, что живет она не очень...
Но, чтоб вернуть назад ей пятаки —
нет, не посмели: у кого сыночек,
а у Палаши — четверо... сынки.
Да и хозяин... Всю, как есть, породу
война перевела. Никто с тех пор
не приносил ей в избу в ведрах воду,
никто, кроме самой, не брал топор.

...Был памятник поставлен в самом центре
в кругу берез старинных, над рекой,

и, так уж получилось, рядом с церквой,
по-нынешнему, рядом с мастерской.

И вышел митинг в день его открытья.
В погожий, но не жаркий этот день,
суровы и тихи, пришли на митинг
все жители окрестных деревень.

Стояли, вспоминая и жалея
кровиночек, забавушек, родных...

Чуть припоздав, пришла и Пелагея
с букетиком цветочков полевых.
Пробилась ближе, на колени стала,
одна. И всем почудилось в тиши,
что с черных куполов не галок стая
взвилась в тот миг, а вопль ее души.
Рассыпала неяркие цветочки
у памятника, взвыла, скорбя:
— Ну что же вы, ну что же вы, сыночки,
не сберегли, все четверо, себя?!
Уж я ли вам защиты не молила,
уж я ли вас, горюха, не ждала? —
Как будто бы не памятник — могила
сыновняя у ног ее была. —
Ой, да какою мама ваша стала,
сыночки, вы бы глянули сейчас.
Без вас ей сенокосы вышло ставить
и землю обихаживать без вас.
От лебеды спасать да от полыни,
а в вёсну — плугом, горькую, пластать...

Ни дна те, ни покрышки, Змей Горыныч,
сыночков погубивший супостат!

А галки все метались за оградой,
и все у рта платок держала мать...
И медлил председатель, стоя рядом,
речь начинать.

1969



*ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ**

Как, спрашиваешь, жизнь? Да понемногу.
А новость, коль писать о новостях,
такая: взяли в армию Серегу...
И по причине этой, слава богу,
мы побывали в Перкине в гостях.

Ну, свиделись с сеструхой, потужили:
когда успели столько, мол, прожить?
И у меня сыны уж отслужили,
и у нее уж внук пошел служить...

Вот так. И не заметили, как оба
состарились. Сеструха на меня:
«Совсем забыл. Ко мне все не дорога...
И дети — тоже: встретятся у гроба
ужо... И остальная вся родня...»

И верно, не бывал четыре года
я в Перкине... Не то чтобы оно
далёко иль мешала непогода...
А просто потому, что у народа
теперь гоститься не заведено.

Теперь, вишь, где сбежались — тут
и праздник.

*Из поэмы «Письма из деревни».

А раньше ждали праздничного дня
и взрослые, и дети — худо разве?
А блюд да разносолов сколько разных
готовили! Съезжалась вся родня!

Чтоб свидеться, чтоб в буднях не утратить
родства — беда и радость пополам!
И дети тут, и кумушки, и сватьи...
Спать соберутся — нипочем кровати...
Кто на сарай, кто на пол, кто в чулан,

кто в сеновал, на молодое сено,
глядишь, тулуп иль шубу поволок...
Ну, а застолье — песни непременно,
а также пляска — тридцать три колена,
все брякает — и пол, и потолок!

А пили что! Да пиво! Хмель и солод
у каждого водились про запас...
...Ну, что еще?
Серегу, значит, в город
мы с батькой проводили: парень молод...
Напутствовали: дескать, в добрый час!

А я, уже в саду военкомата,
спросил его: вернешься, мол, в совхоз?
Серега глянул в сторону куда-то,
вздохнул, повел плечами виновато
и ничего в ответ не произнес.

А у скамьи соседней тоже парни
толкались — городские некрута.

Один из них чего-то на гитаре,
крутя башкою стриженою, шпарил,
а остальные выли: та-та-та...

Какую-то унылую песнюшку
тянули на каком-то языке,
себе и нам выматывая душу...
Ох, воробьи! Послушал я, послушал
и подошел к ним с палкою в руке.

Затихли. И один сказал, кивая
на палку: — Не на нас ли уж, дедусь?
— Да нет, парнишки... — шутку понимая,
ответил я. — Вторая мировая
ее вручила мне... И хоть кривая
она, а вот ношу — не расстаюсь!

Вот песня ваша... Больно уж не здешний
мотив, прошу прощения, у ней.
Такой, что я подумал даже, грешный:
уж не туристы ль вы из-за морей?

Скривились:
— Хы! При чем тут, дед, туристы?
— Да вижу, — я ответил, — русаки...
— Стар ты, дедусь! — нашелся самый
быстрый. —
Магнитофон у нас теперь, транзистор...
Врубил — и на!.. Любые языки!

— Да, старый я... Но я, ребята,
старый
солдат еще, позвольте доложить.
И грустно мне — ведь вы не за амбары
с девчонками под эти тары-бары,
Отчизне отправляетесь служить!

Не та у песни вашей, парни, нота!
Не этакими знали нас враги...
Ох, много командиру вашей роты
придется, вижу, с вами поработать,
чтоб, извините, вправить вам мозги!

Захохотали: — Будем благодарны! —
И затряслись опять с гитарой в лад.
— Ну что ж... — поднялся я. —
Счастливо, парни!
Я помешал вам, вижу. Виноват!

И отошел... А после, как Серегу
отдали под команду старшины,
Ольхана встрел — везет же мне,
ей-богу! —
казенную, гляжу, волочит ногу
через дорогу... Он такой с войны.

Не виделись, наверное, лет десять
(он ранен был в сраженье за Москву).
— Ольхан! — я крикнул не без
интереса. —
Откуда ты? — Да вон, из райсобеса.
Мотоколяску дали, брат!.. Живу!

А в голосе какое-то томленье...
— Так радуйся! — я ляпнул сгоряча.
— Да что уж... — он ответил
с сожаленьем. —
Не подвезло! Высокое давленье
во мне... А то бы дали «Москвича».

Эх, чуть пораньше б курочка яичко
снесла!
— Да перестань ты, не жалей!
«Москвич» дороги требует приличной.
Мотоколяска ж — легкая, как птичка,
хоть в лес кати, хоть к озеру на ней!
Тебе куда ведь ездить? На рыбалку!
Да внуков для потехи потрясти
вдоль улицы... Да, коль не сыро, бабку
с корзиною из лесу привезти.

*ПРОВОДИНЫ**

Давно ли
(лет, наверно, восемь
тому), недавний ученик,
стоял на сцене он — в ту осень
не просто Гришка — призывник!

Стоял в распахнутой рубашке
в строю,
стоял возле дружка
и улыбался помилашке
Любашке — школьнице пока.

И так глаза его блестели,
и столько было озорства
в них,
что у Любки, в самом деле,
ходила кругом голова;

и полыхали щеки жаром,
и громко грохало в груди...
А было это в клубе старом
в тот, давний, вечер проводин.

---

*Из поэмы «Остался в поле след».

Немало — конных или пеших —
их понагрянуло в тот день,
призывников,
из поредевших
послевоенных деревень.

Заняв собой почти полсцены,
стояли мальчики, годки,
готовые прийти на смену
товарищам
призывники.

А чуть правей и ближе к краю
и к залу вполуоборот
стояли, робко сбившись в стаю,
девчонки — жалостный народ.

И пели Любки и Наташки,
чувств к ним не думая скрывать,
что, дескать, мы солдатки ваши
теперь. И доля наша — ждать.

И лишь затихла эта песня,
на сцену, молод в этот миг,
сам председатель — честь по чести —
поднялся (в прошлом — фронтовик).

И, не казня тоской бумажной
собранье,
просто произнес:
«Служите Родине отважно,
не забывайте свой колхоз!

И возвращайтесь. Ваше место
никто, ребята, не займет.
Вас обещают ждать невесты
и — точно! — будет ждать народ!

Особо, ясно, ваши мамы
и мы, конечно, старики...
До встречи в новом клубе с вами,
товарищи призывники!

Прошу запомнить это: в новом!
Уже завезен матерьял...
Ну, а теперь, ребята, слово
по праву вашим матерям».

И встали молча, и на сцену
в платочках, в кофточках пошли
свет Катерины да Елены...
В руках у каждой горсть земли,
зашитой в белую холстину
(«своя земля — в горсти мила»).
И каждая
родному сыну
ту горсть земли передала.

И парни — все без исключенья —
вдруг ощутили в лицах жар:
он был особого значенья
и смысла полон,
этот дар.

И донеслось до всех со сцены
средь напряженной тишины:
«Мы этот дар наш драгоценный
затем вручаем вам, сыны,

чтоб не забыли вы в далеком
краю
ту землю, где росли,
чтоб вечно как зеницу ока
ее хранили-берегли.

Чтоб за нее, коль будет нужно,
сражались, жизни не щадя,
чтобы она вас после службы
всех позвала опять сюда —
к борам грибным да чистым рекам,
в село, под те же тополя,
на наши, трудные от века,
родные русские поля».

...Запомнил Дворов этот вечер.
И этот дар. И эти речи.
Аж кровь ударила в виски!
Притих.
Как будто бы на плечи
ему — отечески легки —
легли две добрые руки.

И в это самое мгновенье
пронзило душу озаренье:
прикосновенье этих рук —
самой ЗЕМЛИ благословенье,
земли, раскинутой вокруг.

«Запомни, сын мой: я не брошу
тебя. Но ты сочти за честь
принять теперь на плечи ношу
тех, что меня хранили днесь!

Иди! Но где б ты ни был — всюду
они, в ночи, средь бела дня,
теперь твоими, помни, будут
глядеть глазами на меня.

Они свои сомкнули вежды,
свершив достойно, что могли.
Ты ныне главная надежда
извечной Матери — ЗЕМЛИ!»



4





1990-е гг.

МОНОЛОГ ПРИРОДЫ

Я — Природа. Я — великий мастер.
Вечный мастер жизни. Я могу,
Человек, тебе за соучастье
подарить —
в моей все это власти! —
гриб в лесу, ромашку на лугу,

небо в час восхода и заката,
ягоду в бору...
И наконец,
солнцем прокаленный, рыжеватый
хлебный колос! Как всему венец...

Только ты
мой дар, мое уменье
не прими за дань: я не раба.
Не забудь: ты сам — мое творенье!
И у нас с тобой — одна судьба!

Да, ты вырос. Ты простился с детством.
Шире — что ни год — твои шаги...
Но не занимайся самоедством!
И былинку даже, что в наследство
я тебе вручила,
береги!

Мы с тобой дорогою одною
катимся — ни часа врозь, ни дня...
И не можешь быть ты *надо мною*,
как не можешь быть

и вне меня.

1973



ПАМЯТЬ О ВОДЕ

Г. Н. Троепольскому

Бывает: жизнь покажется нам вдруг
дотла сгоревшей в пепельнице спичкой.
Ложь торжествует. Предал лучший друг.
Душою овладело безразличье.
Никто не мил. Все валится из рук.

Мы созерцаем, лежа на спине,
свою, постылой ставшую, квартиру
и небо равнодушное в окне...
Лежим безмолвны, безучастны к миру,
лежим как камень в темной глубине.

И, робкая, в нахлынувшей беде,
неуловима, как стихотворенье
забытое («Когда читал? И где?»),
как первый свет над сонною деревней,
в нас вдруг восходит память о воде.

Она полна подробностей: леса,
туман, камыш, лодчонка у причала...
Чуть дальше — каменистая коса...
И всплески рыб... И снова все сначала:
туман... камыш... и чаек голоса.

Сползает с сердца тяжкая плита:
оно доступно вновь любви и вере
и рвется в те заветные места,
где плещется вода о низкий берег,
как стеклышко промытое, чиста.

И пусть мороз лютует за стеной —
лелеем мы в душе мечту простую:
поймать,
с родною свидясь стороной,
уверенности рыбку золотую
и приобщиться к радости земной.

И вот мы у воды. Дымит костер.
Кипит уха над ним. А недалече
чета березок тоненьких лепечет...
И, взяв за плечи, нашу душу лечит
сверкающего озера простор.

И синь в глазах, и блики... О вода!
О ты, земли живительное чудо!
Кто первым в старину пришел сюда,
сил не нашел уже уйти отсюда —
заворожен, остался навсегда!

Он здесь стоял. И час, и два подряд.
Стоял один. Костер дымился рядом...
Здесь жил и умер... Пусть века летят —
но чувствуем мы нашим долгим взглядом
над озером его прощальный взгляд.

Что в нем? Восторг. И радость. И покой.
Благодаренье. Умиротворенье.
И то, чего не выразить строкой...
И перед Красотою преклоненье —
простой, но величавою такой.

Нам чудится прищур славянских глаз,
а в них тоска... тоска от неуменья
поведать нам, потомкам, сколько раз
вода ему давала исцеленье,
как исцелила в это утро нас.

1976



ГЛУХАРЬ

Черный веер хвоста,
дуг надбровных рубины,
по бокам, словно латы,
два сильных крыла,
когти как у орла,
клюв почти ястребиный —
мать-природа ему все с избытком дала.

Научила негромкой, но трепетной речи...
И могучим
сумел он себя осознать!
И остался навеки на диво беспечен:
кто там, что там внизу —
наплевать, наплевать!..

Стают снеги в лесу, устоится погода,
он, доверясь привычной ему высоте,
древний «стих»
основателя, может быть, рода
бормотать начинает еще в темноте:

«Тэк-тэк-тэк!» Запрокинуто жаркое горло,
черный веер распахнут во всю ширину,
и расстегнуты латы, и выгнута гордо
грудь
в ревнивую, в чуткую ту тишину.

«Тэк-тэк-тэк!..» Пусть расколется небо и треснет
под сосною земля! Для него до поры
в мире нет ничего,
кроме собственной песни
и томительной этой любовной игры.

Но на деле — ах, столько веков миновало! —
в мир давно уж на смену бесшумной стреле
громовые, литые пришли самопалы —
сто смертей, коль без промаха,
в каждом стволе!

Ну а он все поет...
Он, как прежде, бормочет
«стих» свой древний —
и слеп в это время, и глух.
И шаги отмеряет к нему между кочек
смерть...
И носятся в воздухе перья да пух,
где упал он. Краснеет брусничинкой спелой
в клюкве капелька крови... Бледнеет заря.

Не ошибся счастливый охотник прицелом,
очень точно направил смертельный заряд!
Подошел: «Ух, красавец!» — и поднял,
помешкав.
Крылья — в стороны сразу: «Не птица,
а царь!»
И, качнув головою, добавил с усмешкой:
«Но глухарь!
Удивительный просто глухарь!»

ПИЛИ ИЗ РЕЧКИ КОНИ...

Реки — не человеки,
но и они — не вечны.
Странно открыть такое
разуму вопреки.
Вот она — та дорога,
вот он — тот луг заречный,
мост, где была плотина...
Нет лишь самой реки.

Ласточек сколько было!
Нет...
Берега опали.
Галечник под ногами,
там, где была вода.
Господи, неужели
в детстве мы здесь купались?!
И неужель мой сверстник
здесь утонул тогда?!

Вздрагиваю: «Не сон ли?!»
Явь — тяжелей кошмара.
Грустно ступаю руслом,
думаю по пути:
как она умирала —
солнечного ль удара
или — страшней — людского
сил не найдя снести?!

Реченька — ах, узнать бы! —
сколько тебе от роду
было и что ты, речка,
видела на веку?
С камушка да на камень
ты все струила воду
и наконец открылась
первому мужику.

Он подошел напиться —
воду взмутила щука,
из камышей поднялся
выводок на крыло...
Плюнул мужик в ладони,
крякнул — и начал тюкать:
лес мужику был нужен —
«место красно зело!».

В полдень, устав, купался...
Думал, присев на бревна:
«Только бы сил достало...
Лес-то — под облака!
Есть и полегше земли —
ясно! Тайга огромна.
Есть... Но ведь тут-то, тут-то...
Боже ты мой, река!»

А ведь река — не только
рыбно там да красиво,
речка — еще дорога,
банька на берегу...

И поднялись здесь избы,
как и по всей России,
как и по всей России —
окнами на реку.

Сколько с тех пор разливов
было — никто не помнит...
Щуки плескались в речке,
хвост у иных — с весло!
Черпали бабы речку,
пили из речки кони —
не становилась мельче...
Что же произошло?

Что же?.. Ступаю ложем
речки, как небо, древним:
здесь вот был Черный омут,
нынче — лишь бочажок...
Видимо, кто-то выше,
ниже моей деревни
меньше любил речушку,
плохо ее берег.

1972

НА ТЕТЕРЕВИНОМ ТОКУ

— Тетерева-то?.. Да какие ноне
тетерева... — махнул старик рукой. —
Поди-ка, их теперь во всем районе
не сыщешь, хоть район-то — вон какой!

Бывало, выйдешь — вся округа стонет.
Теперь — хотя бы гуркнуло... Шабаш! —
И все же, вняв мольбам моим, Афоня
привел меня назавтра в свой шалаш.

— Ну вот, — сказал негромко, — мы и дома...
Давай сюда... — И, лапником шурша,
я влез в шалаш, уселся поудобней
и взвел курки. И замер, не дыша.

А меж лопаток — дрожь от нетерпенья.
Казалось мне: вот-вот возле куста
он сядет, первый,
и распустит перья
красивейшего, лирою, хвоста.

И, надломив в бойцовском кличе брови,
на все леса и долы возвестит,
что жаждет он любви
и крови, крови
соперника, который прилетит!

И он услышит этот клич, соперник,
и спустится, отвагой клокоча,
к тому кусту... И только перья, перья
по ветру полетят от трепача!

Я наблюдал подобные дуэли
не раз, смиряя дрожь дробовика.
Жду: нету... Жду: ни звука.
Неужели
ты правду говорил мне, старикан?!
Но нет!

Я вздрогнул даже — так он близко
и так он громко — щеголь-то какой! —
передо мною прямо приземлился,
ну так, что хоть бери его рукой!

Пооглядeлся, встряхивая сизый
воротничок, и — грудью на рассвет —
как будто бы перчатку, бросил вызов:
«Чуффы!» — и замер, слушая ответ.

Но не было ответа. Только ветер
шушукал шумно в крыше шалаша...
«А вдруг... — я вздрогнул, —
из живых на свете
вот этот франт — последняя душа!!!

Последний «мамонт» северного края!..»
Не мне ль вчера Афоня говорил:
— Грачей весною с поля подбирали:
какой-то химикат их уморил.

А франт, как первый парень на деревне,
меж тем, чертя крылом, как петухи,
своей воображаемой царевне
читал проникновенные «стихи».

И кругом-кругом, подобравши полы,
и боком-боком, лиру распустив,
и — молодецки — шпорою о шпору
под страстный незатейливый мотив.

То замирал и, шею выгнув грозно,
чуфыкал вновь...
Я глянул на часы
и... выстрелил: — Лети, пока не поздно!
А я поем с Афоней колбасы.

1969

К ОЗЕРУ

Не еду, не еду, не еду
на юг!
«До свиданья!» — кричу
влюбленному в Ялту соседу
и на
    Ярославский лечу.
Ни паспорта и ни путевки
со мною, но я не грущу:
сперва погостюю у тетки,
у дядьки потом погощу.
Хочу разделить их беседу,
их песни послушать хочу...

Не еду на юг я, не еду —
счастливый, на север лечу!
Плевать мне на прелести юга,
соседушка! Мне не нужны
ни лежбища праздного люда,
ни плеск черноморской волны,
ни легкие ваши «победы»
ни пляжный ваш треп «с бородой»...

Я к озеру, к озеру еду
с глубокой и чистой водой!
Оно, голубея, глядится
спокойно весь день в небеса.
И, словно густые ресницы,
над ним нависают леса.

Рыбачит на нем лишь гагара:
нырнет — полчаса не видать.
Да выводков кряковых пара
жирует — им там благодать;
да чайки беспечные вьются
иль плавают стаей одной,
белея, как сахар на блюдце,
на блюдце с зеленой каймой.

А сколько в том озере рыбы!
Закинешь — на дно поплавок.
Спасибо, природа, спасибо
тебе за такой уголок!
За то, что, считая потери,
его ты хранишь до сих пор...

Я выеду в полдень на берег
с добычей — и вспыхнет костер!
Забьют плавниками упруго
в ведерке моем окуньки.
И запросто с ближнего луга
нагрянут к ухе земляки.
Я крикну, гостей привечая,
с улыбкою через плечо:
«За вкусно, друзья, не ручаюсь,
ручаюсь лишь за горячо!»

«И то прибежали недаром!» —
ответят, присев у ведра,
и станут хвалить «уховара»:
на это они мастера!

И тысячу всяких историй
расскажут («Записывай, черт!»).
Ах, озеро, мой санаторий,
мой лучший из лучших курорт!

Спасибо тебе! Я не скрою
секрет от тебя небольшой:
над светлой твоею водою
и сам я светлею душой!

1972



ОНА НЕ СКАЖЕТ...

1

Услышу ль сосен шум в полдневный час,
журчанье ль струй средь камушков у брода, —
о люди, мыслю я, у всех у нас
есть мать одна
по имени Природа!

У ней для всех хватает доброты...
И мы живем, запечатлев навеки
в душе
ее прекрасные черты —
поля, луга, леса, моря и реки.

2

Три клада у Природы есть: вода,
земля и воздух —
три ее основы.
Какая бы ни грянула беда:
целы они — все возродится снова.

Но если... Впрочем, в наш жестокий век
понятно всем, что это если значит.
О человек! Природа-мать ни рек
и ни морей
от глаз твоих не прячет,

ни росных трав, ни голубых небес...
Цени ее доверие, Природы!
Не обмани его!
И в темный лес
входи, как в храм под мраморные своды.

3

Ты — Человек. Ты — царь Природы. Так,
поскольку все в ней сущее подвластно
тебе... Живи, сверяя каждый шаг
с Природою, — и будет все прекрасно!

И царские замашки не лелей
в душе, и не давай себе свободы...
Ты — царь Природы, так.
Но знай: трудней
почувствовать себя венцом Природы!

4

Природу покорить?! Ничьи уста
надменней слов не молвили отроду.
Рабыней нашей — логика проста —
намеревались видеть мы Природу,

объезженной лошадкой: повернешь
куда захочешь — лишь тряхни уздечкой...
Мы — дерзкие сыны ее! И все ж,
и все ж нам от нее зависеть вечно!

5

...Малыш, припав к груди беззубым ртом,
улыбчиво кося на маму глазом,
еще совсем не ведает о том,
как многим он ей, в сущности, обязан.

Не замечает он ни доброты,
ни ласки материнской, ни заботы...
Ты — взрослый. Ешь и пьешь. И рвешь цветы.
Цени Природы-матери щедроты!

6

Взглянув на то, что смято, сметено
в очередном разбое или раже,
не утешай себя, что все равно
Природа никому о том не скажет.

Она не скажет, да... Но не простит!
И час настанет: лично ли, заочно —
она тебе жестоко отомстит!
А не тебе — так сыну. Это точно.

7

Случится даль да глушь нам одолеть —
мы шутим, сбросив белые перчатки:
«Закон — тайга, а прокурор — медведь!»
И в ствол вгоняем порцию свинчатки.

Палим во что попало, — жаден глаз! —
и рубим, и взрываем, и корежим...
Природа-мать ждет милостей от нас.
Взять их у нас она, увы, не может.

8

«Я не люблю природу! С детских лет
питаю неприязнь к полям и рекам».
Слыхали вы хоть раз от человека
слова такие?
— Нет.
— Я тоже нет. —
Все, как один, на сотнях языков
клянутся ей в любви неистребимой...

Но кто же, кто «наставил синяков»
ей, всеми нами преданно любимой?!

9

Какие снятся рекам чудеса —
нетрудно угадать теперь, пожалуй:
в глубинах отраженные леса
и рыбы, как блескучие кинжалы;

продравшийся сквозь чащу напролом
и капли с губ роняющий сохатый,
и белый лебедь, розовым крылом
по синей глади бьющий, как лопатой.

10

Лес — самая высокая трава.
Я в той траве — не больше как букашка.

Взгляну на ель — кружится голова,
на сосны гляну — падает фуражка.

А лес шумит... И словно слышу я
глас чей-то высоко над головою:
«Смотри не наступи на муравья:
он пред тобой — как ты передо мною».

11

Лес для тебя, я знаю, лишь дрова.
Но для зверей и птиц он, лес, — жилище.
И закатать по локоть рукава
ты не спеши, сжимая топорище;

не учиняй в чужом дому разбой,
топор вгоняя в комель с разворота,
лишь только потому, что пред тобой
в тот дом всегда распахнуты ворота.

12

Ах, трудно ли, ножом вооружась,
раздеть березу — тихую простушку,
и нацедить прохладной крови кружку,
и затоптать ее сорочку в грязь?

Она в лесу останется стоять,
как черный вскрик о том, что где-то рыщет
двуногий зверь с ножом за голенищем...
И роща будет в страхе трепетать.

13

«Зеленый друг» — так пишем мы подчас
и говорим про лес. И в час досуга
мы навестить всегда готовы друга:

— В лес, в лес! — И он одаривает нас
всем, чем богат. Там травы до колен,
а там грибы... Не сбейся только с круга.

Но честно ль это: все забрать у друга
и ничего не дать ему взамен?!

14

В поля я вышел. Сто в полях дорог...
А на душе досада и тревога:
кто где проехать вздумал, кто где смог —
там и проехал. И легла дорога.

След гусениц. И снова след колес,
глубокий след, по озими, по лугу...
Такое чувство: будто кто нанес
жестоко и безвинно рану другу.

15

...И вот мы на Луне, в конце концов,
земляне! Обернулась сказка былью.
Мы вышли на «крыльцо».

И нам в лицо
пахнуло нежилою мертвой пылью.
А что там — дальше? Может, пыль опять?
Сигналим в космос мы — ответа нету...
И так нам, людям, хочется обнять
счастливую из всех
свою планету!

16

Кто-кто, а мы-то знаем, что она
одна такая в солнечной системе.
Несется, птичьим щебетом полна,
и плеском вод, и шелестом растений...

На ней есть жизнь. И, как всему венец,
на ней есть разум.
Он могуч. Он может
жизнь эту иль украсить и умножить,
иль в прах ее повергнуть, наконец.

17

Я говорю: ты болен, шар земной.
В твоей коре ракеты, как нарывы.
Тебя, не раз крещенного войной,
вновь лихорадят атомные взрывы.

Ты плохо спишь — гудят твои бока.
Ты трудно дышишь — копоть в атмосфере.
И страшно мне, что этого пока
еще не осознал ты в полной мере.

КОСТЕР, ЧТО ГРЕЛ ТЕБЯ...

Когда костер, что грел тебя, потух
под утро, — не отчаивайся,
                                        прежде
чем тронешь пепел палкою, в надежде,
что есть еще под ним веселый дух
огня...
И, обнаружив уголек,
хотя б один,
                        вставай на четвереньки,
бересту подвигай и помаленьку
вздувай, вздувай желанный огонек!

Вздувай, поскольку спички, под дождем
забыты, безнадежно отсырели.
Вздувай, мой друг,
стремись упрямо к цели,
вздувай — и будешь ты вознагражден!

Опять к теплу потянется рука.
Да и душа оттает...
Знай, дружище:
нет ничего печальней пепелища,
в котором под золой — ни уголька.

И потому, когда шумят ветра,
когда в лесу хозяйничает осень, —

не поленись хотя б сучок подбросить
в костер, чтоб не потух он до утра.

Чтоб снова огонек-неугомон
от уголька родился на рассвете...
Остывший пепел!
Есть ли что на свете
для сердца холодней еще, чем он?!

1973



ОХОТА НА ЛОСЯ

...Вдруг
небо треснуло над головой!
Как будто это ветер буревой
столетнюю сломал в чащобе елку.
Зверь сделал шаг... второй...
еще живой...
И пал...
А браконьер взметнул двухстволку
и крикнул, торжествуя: «Наповал!
Шагов за пятьдесят! — добавил гордо. —
Эй, ты, чувак! — напарника позвал. —
Достань-ка нож да перережь ей горло!»

Тот подошел.
Действительно, о н а,
л о с и х а, в этот раз была убита.
И, кажется, с теленком, не одна
гуляла тут — вот след его копыта.

Он положил ружье возле куста
и начал свежевать угрюмо тушу.
А на душе («Фу, леший!») маета:
заглядывает будто кто-то в душу.

И верно: зыркнул из-под козырька
и увидал, совсем неподалеку,

два рыжих, врастопырку, лопушка
и два
      от страха выкаченных ока.

«Лосеночек!»
Расставив широко
ходульки неокрепшие, глядел он...
Глядел он, и стекало молоко
с губы шершавой
                    ниточкою белой.

И терпко пахло кровью...
«Не могу!» —
Вонзился в землю нож по рукоятку.
«Зачем ты, — закричал он, как врагу,
напарнику, — зачем стрелял ты в матку?!
Не видел, скажешь? Нет, ты видел! Врешь!»
И, яростный, — дыханье даже сперло —
он выпрямился, взял ружье и нож:
«Мне это мясо не полезет в горло!
Беги, малыш! — лосенку крикнул вслед. —
Пока тебе, как матке, не попало!..»

...И с той поры —
прошло семнадцать лет —
с ружьем в лесу ни разу не бывал он.

1980

ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ

В ручьях, особенно лесных,
журчащих летом в корневищах,
вода всегда, во-первых, чище,
вкусней намного, во-вторых.

А отчего?
Да оттого,
что от н а ч а л а,
от и с т о к а
она ушла не так далеко
и дышит свежестью его.
И холодком...

Тем холодком,
который даже ломит зубы,
когда мы в знойный полдень — любо! —
склоняемся над ручейком...

Всё,
как под стеклышком,
на дне!
Ручей речист и полон смеха.
Никто его не переехал
ни разу даже на коне.

Не замутил никто ногой,
сказав при этом: «Как здесь мелко!»
Перескочила только белка
через него разок-другой.

Да уронил птенец перо,
через него перелетая...
Вода, поистине святая,
звенит, блестит, как серебро.

Ах, что́-то будет с ручейком
потом, — я думаю, печален, —
когда он речку повстречает
за безымянным бугорком?

Ту, про которую молва:
мол, повидала речка свету
и вот теперь ни рыбы нету,
ни раков в ней — одна трава.

Да и она — почти черна...
Ручей звенит, струю свивает...
И завороженно внимает
ему лесная тишина.

1980

НА МЕДВЕДЯ

1

— Давайте-ка стряхнем заботу,
Вадим Вадимыч, и, как встарь,
махнем в субботу на охоту,
зима не ждет — уже январь.
— А есть берлога?
— Есть берлога...
— Спит?
— Как всегда, мертвецким сном.
— Дорога как?
— А что дорога?!
Час-два — и мы в краю лесном!
Коль пожелаешь — рядом сядем:
организую вертолет.
— А кто командует парадом?
— Да Плясов — кто ж...
Звонили. Ждет.

2

— Приедут! — Плясов сбился с круга.
Два дня звонил, просил, кричал...
Ведь он встречал не просто друга —
Вадим Вадимыча встречал!

На помощь егерю поспешно
еще четверку отрядил...
— Вадим Вадимыч... он, конешно...
Но не один же на один
с медведем!..

Ох, мое сердечко!
Вторую ночь не сплю...
А вдруг, —
он округлял глаза, — осечка?
И что тогда?.. «Здо-ро-во, друг!
Давно не виделись!» И лапку
положит этак на плечо.
А то еще возьмет в охапку
и поцелует горячо.

Ну, нет уж... Я таких объятий
не допущу, трам-тарарам! —
И егерю:

— Смотри, приятель!
Чтоб рядом... все!.. по номерам!

3

Проткнул колом берлогу егерь
и проорал, бодрясь: «Подъем!»
И, видно, шубу на медведе
слегка попортил острием.

Потом пошарил жердью слева:
«А ну-ка, где ты там, милок?!»
И зверь проснулся. И, разгневан,
башкою вышиб потолок!

И увидал:
тесня друг друга,
стоят охотники стеной:
семь-восемь — справа, полукругом,
немногим меньше — за спиной.

«Да что ж вы, братцы... — полорото
медведь на стенку посмотрел.
И в слезы: — Это ж не охота,
а натуральнейший расстрел.

Подумать: эстолько народу!
И два — у каждого — ствола!
Не стыдно ль, братцы?
Ведь отроду
такой охота не была.

Вы что — слабее стали? Или
трусливей? — он прищурил глаз. —
Ведь ваши прадеды ходили
с одной рогатиной на нас!

И не по десять на берлогу... —
Медведь слезу утер меж тем. —
Ну, что дрожите вы, ей-богу?!
Ведь я зимой не пью, не ем.

На кой мне ляд на вас бросаться!
Я вот возьму и лягу тут!
Но чур, — он поднял лапы, — братцы:
у нас лежачего не бьют!
Да и у вас, я слышал, тоже...
Хотя вы в драке
страсть как злы!
В связи с таким обычьем, может,
вы все ж опустите стволы?»

Тут все, от страха замирая,
глаза на егеря. А тот:
«Поскольку дело принимает
совсем нежданный оборот,

считаю, можно, даже нужно
спустить, товарищи, курки!»
И тотчас в снег уткнулись ружья...

«Вот это мудро, мужики!» —
оптимистично рявкнул Мишка.
И, лапой яростно скребя
там, где свалялася шерстишка,
стал прихорашивать себя.

«Конечно, вы могли бы сдуру
меня убить (пардон: «добыть»),
но как, скажите, стали б шкуру
на всю компанию делить?

Зачем она вам? У порога
швырнуть?..
Побойтесь же греха:
ведь в ваших тепленьких берлогах
есть покрасивее меха.

Любых цветов! Не то что прежде.
Тащи домой любой отрез!..»

И вдруг: «Но и мясцо медвежье...
кхе... представляет интерес!
Деликатес!» —
из-за сугроба
вдруг кто-то подал голосок.

«Неужто, — рявкнул он сурово, —
вам медвежатины кусок
дороже чести?! Не поверю.
Ведь есть у вас другая снедь!
О люди... Мне, лесному зверю,
за вас приходится краснеть».

«Ну, это ты... того... напрасно:
Мы не за мясом только в лес!
Нам отдохнуть важнее, ясно?
У нас спортивный интерес!
Ну и (мужчины ведь!) нервишки
пощекотать... Хоть в зиму раз!»

«Что ж, если так... — взбодрился Мишка, —
извольте! Это мы сейчас!»

И, попросив со спиртом флягу,
опустошил. И сел в сугроб.
«Все... А теперь я снова лягу
в берлогу... Я уже продрог.

А вы на лыжи ли, на сани —
и к дому. Кроме одного...
Надеюсь, вы решите сами,
кого оставить здесь...»

«Кого?!» —
у всех запрыгали сторожко
глаза: прозрачен был намек...
«Вадим Вадимыча берложка,
я для него ее берег», —

сказал, польстить желая, Плясов.
И понеслось со всех сторон:
«Его, его берложка, ясно!
Его! Остаться должен он!»

«Что ж, он так он! — Медведь потрогал
за шею гостя. И — не зло:
— Ну, так... Вот кол, а вот берлога,
к которой, брат, тебя влекло.

Меня ты тронешь (только тронешь!)
колом... Уйми ж ты, братец, дрожь!
Ведь у тебя ружье... И кроме,
вон, под полою, финский нож».

«И в самом деле, ты смелее,
Вадимыч! — крикнули друзья. —
Коль грудь на грудь не одолеешь —
пали спокойно из ружья!

Давай, дава-ай! — И, в сани скопом
упав, стегнули лошадей. —
Гей, Сивка-бурка, рви галопом,
греми копытами, злодей!

Гей, гей!» — И скрылись,
на дорогу
попав, как видно... А медведь
поскреб затылок — и в берлогу...

Вадим Вадимыч поднял жердь,
вздохнул и — господи ты боже! —
откинув за спину ружье,
ту жердь в отверстие берложье
швырнул, как в недруга копье.

И не успел еще приклада
поймать —
уйдешь ли от судьбы? —
как перед ним огромный, рядом,
медведь поднялся на дыбы.
Вадим попятился, споткнулся,
упал... Медведь взъярился — и...

И тут Вадимыч наш проснулся,
мешком свалившись со скамьи.

«А-а!» — закричал (ушиб затылок).
Открыл глаза: окно... луна...
стол... на столе — ряды бутылок.
И закусь всякая видна.

Потер виски... и всплыло, всплыло,
как прошлогоднее кино,
что тут совсем недавно было,
а было, кажется, давно...

«Все это Плясов! Едем, едем!
Мол, романтично: лес, снега...
жаркое заячье... и егерь —
наш хлебосол и ваш слуга!

О черт! Приехали...
Пожалуй,
уж дальше некуда...» — Он встал.

У печки ружья в ряд лежали,
блестел ухоженный металл...

1980

ЛЕТЕЛИ ЛЕБЕДИ

(Баллада)

Летели лебеди, кричали.
Поля окутывала мгла.
Прощальной грусти и печали
был полон каждый взмах крыла.

Летели лебеди устало:
попутный ветер изменил.
И лебеденок – третий в стае –
давно об отдыхе молил.

А старый требовал терпенья:
мол, погоди ты, погоди,
мы сложим крылья, смочим перья,
лишь встретим воду впереди.

И вот внизу
отрадой вечной
в глаза блеснула им вода –
по-за деревней озеречко
немногим более пруда.

Ах, как приятно,
обессилев,
снижаться было им, паря,
на этот плас, как небо, синий
и тихий!
Что пред ним моря!

Как кипень белые, слетели,
свалились птицы свысока
на озерко. И в самом деле
похожие на облака.

И видел это из кабины
шофер — жестокая душа —
сквозь гроздья красные рябины,
сухие пики камыша.

Остановил машину, замер.
Но тут же, вспомнив про ружье,
он, с ошалелыми глазами,
погнал ухабами ее
в деревню...

Встал возле крылечка.
Схватил двухстволку со стены
и два, зеленые, с картечью
вогнал в вонючие стволы.

Он жал на все, летя обратно.
Он полз меж кочек, не дыша.
...А птицы слушали невнятный,
спокойный шелест камыша.

И плавали без напряженья,
совсем не чувствуя беды,
своим красивым отраженьем
любуясь в зеркале воды.

Из рода в род они веками
постичь пытались, что к чему.
И знали: зверь не бросит камень,
не дайся в лапы лишь ему.
Держись от берега подале —
и зубы зверя не страшны...

И вдруг — ударил
гром средь вселенской тишины!
Забила крыльями незряче
мать-лебедиха: острие
свинцовой молнии горячей
пронзило голову ее.

Два белых облачка —
как ветер
их сдул! —
в нагрянувшей беде
метнулись в стороны, а третье
осталось плавать на воде.

Дым растворился.
Дождь закрапал,
в прибрежных зарослях шурша.
И во весь рост на задних лапах
встал з в е р ь у кромки камыша.
Ликуя, встал!

А в небе, в небе —
да нет, не в небе — над водой —
крича, кружился старый лебедь,
метался молча молодой.

Зверь подобрал добычу с лодки...
А вечером — не стал скрывать —
поел в усладу, выпил водки
и «теплый» грохнулся в кровать.

...Через неделю (вновь при деле
он был) взглянул из камыша
и ахнул вдруг: «Не улетели!»
И дрогнула его душа
в догадке горестной: «А если
у них и впрямь, как у людей?!»
Пять дней прошло.
На том же месте
нашел он снова лебедей.

Потом, как белая полова,
снег запорхал над коркой льда.
Но лебеди — он ахнул снова —
не улетели и тогда!

К зиме уже свернула осень...
А по деревне крик ребят:
«На озере, на дальнем плесе,
на льду два лебедя сидят!
Им надо дать поесть скорее!
Им очень холодно!»

...Теперь
об этом знала вся деревня.
И в ней опять нашелся зверь.

Не осторожничая слишком,
но избегая встречных лиц,
прибег он к озеру с ружьишком
и «пожалел» несчастных птиц.

За полчаса закончив дело,
тропой окольной, непрямой,
он притащил, когда стемнело,
добычу редкую домой.

Не стал соседей кликать в гости.
Косясь все время на окно,
сам, по-собачьи, грыз он кости,
сам подливал себе вино
и пил. И все хвалил закуску,
встать не спеша из-за стола...
А мне все слышится над Русью
взмах лебединого крыла.

1979

* * *

Саше

Ловим щук на блесну. Это дело мужское.
Друг мой Колька на веслах, я в самой корме.
Как на взводе курок, друг мой Колька спокоен,
как и следует быть, я себе на уме.
Шнур намотан на палец. Я жажду победы!
Тихим ходом идем вдоль травы: где-то тут
полосатые щуки, как будто торпеды,
золоченую рыбку мою стерегут.
Я коварен. Я к щукам нарочно спиною.
Про себя ж, как язычник, усердно молю:
«Сжалься, щука, что больше других, надо мною,
съешь, пожалуйста, добрая, рыбку мою!»
Вдруг — удар! Да какой! Шнур железнее троса.
О, готова она постоять за себя!
Руки делают дело свое... Папироса
перекушена, падает за борт, шипя.
Щука по борту слева! С ощеренной пастью.
Колька ловко ее поддевает сачком
и бросает к ногам. О, рыбацкое счастье!
Целый год мы мечтали о счастье таком.
«Есть!» — кричу я и тискаю Колькину руку.
И не трудно понять рыбаку рыбака:
может, это последняя в озере щука,
что бензином да нефтью не пахнет пока!

1963

СКАЗАЛ ТВОРЕЦ

(Старинная легенда)

Сотворив и моря голубые и сушу,
Бог слепил человека потом не спеша.
Оглядел: «Ничего!» И вдохнул в него душу.
И увидел: к воде потянулась душа.

Он ей — горы, степей золотую свободу,
он ей — рощи густые: селись и владей!
А душа: «Хорошо! Но хочу еще воду.
Жить вдали от воды не смогу, хоть убей!

Чтоб плескалась у ног,
чтобы взгляду — отрада,
чтобы телу — прохлада в жару, наконец...»
И отправилась к морю из райского сада.
«Вот так штука!» — сконфузясь,
воскликнул Творец.

И, собрав на челе многодумном морщины,
синей молнии
острый конец
на лету
он поймал
и пошел бороздить им равнины —
для души человека творить красоту.

Зажурчали ручьи по горам... И навеки
средь лугов и лесов, людям радуя взор,
разлились широко полноводные реки,
синевою наполнились блюдца озер.

Он не спрашивал даже: довольны ли люди?
Но сказал им: «Запомните (знать неспроста!),
что вода ублажать вас и радовать будет
в е ч н о,
если останется в е ч н о чиста!»

Но забыл человек в небрежении грешном
тот завет. У него обыденный расчет:
грязь — любую! — куда ее?
В воду, конечно!
Дескать, стерпит вода,
все вода унесет.

Видя это, Творец опустился с макушки
мирозданья
и в гневе смотал на кулак,
словно ленты, ручьи,
а кой-где и речушки...
«Вот вам первый урок! Поживите-ка так!»

Оглянулся — живут! И опять без почтенья
и к озерам, и к рекам... Минули года —
рыба вымерла в них и погибли растенья.
Мертвой стала в озерах и реках вода!

Где-то черною стала она, словно сусло,
где-то, скрытый досель, обнажился порог,
где-то берег осел и заилилось русло...
«Это, — грянуло с неба, — второй вам урок!
А когда и его не поймете — придется
вам, о люди, великую жажду познать.
И научитесь вы, приближаясь к колодцам,
обувь — чистую даже! — заране снимать!»

1979



ГЛУБИННАЯ ВОДА

Ольге Фокиной

Он знал, хозяин, что творил,
когда колодец этот рыл
поближе к огороду.
Не уставая грунт копать,
хотел глубинную достать –
не верховую – воду.

«Она и верхняя вода
мокра, – шутил он иногда, –
да не поставишь рядом.
Пол только верхней-то помыть
да огород когда полить,
а чтоб на чай – не надо!

По-настоящему вкусна
вода, которая со дна
глубокого колодца.
Хотя понятно, что она,
поскольку все-таки со дна,
труднее достается.

Но ведь и рыбку из пруда
век не поймаешь без труда!» –
напоминал он часто.

И вновь копал. И пласт песка
пройдя,
        еще на полштыка
он взял и крикнул: «Баста!»

И опустил в колодец сруб.
И вот, наградою за труд,
впервые поднял воду.
Отпив немного из ведра,
сказал с улыбкой: «Ой добра!
Не сыщешь сладче сроду!

Эй, подходите, кто с ведром!
Всех наделю моим добром! —
добавил, люд сзывая. —
Не из заглохшего пруда
моя, сограждане, вода:
моя вода — ж и в а я!»

1979

УЛИЧНАЯ СЦЕНА

Гнедую колотила дрожь.
Она, храпя, глаза косила...

— За что ты, Федя, лошадь бьешь?
За то, что воз ей не по силам?!
За то, что он застрял в грязи,
и ничего — ни кнут, ни пряник —
не помогают?! Сам вези!
Взялся — так надо было править!

А то... дал волю кулакам!
И так-то машешь ими резво,
что лошадь — морду к облакам!..
У ней оглобли по бокам
и в губы врезалось железо.

Как жаль, что взнуздана,
                                        она
беспомощна перед тобою...
Не потому ли так ты нагл
в своем бесстыдном мордобое?
И даже палкою сплеча
беднягу хлещешь что есть мочи...

Но ты не лошадь бьешь сейчас —
себя
        вбиваешь в грязь,
                                    извозчик!

1979

*ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ**

1

О день открытия охоты,
пресветлый день, когда заботы,
отчеты, сводки — что скрывать! —
перестают существовать!
Когда с полудня
полем хлебным
весь транспорт, личный и служебный,
несется —
знаю, ездил сам —
мимо токов, комбайнов мимо,
мимо всего, что сердцу мило
и что не мило, —
к пучкасам!**

2

Летит, пыля,
дивя старушек
у покосившихся избушек,
что предназначены на снос...
В машине каждой — сзади — пес.
Глядит с достоинством — потеха! —

*Из поэмы «Тарзан на утиной охоте».
**Пучкаса — речные протоки, утиные заводи (*местн.*).

на деревенских пустобрехов:
те «гав!» ему, а он — молчок...
Вот так же, взвизгнув тормозами
на повороте, и с Тарзаном
промчался в полдень «москвичок».

3

Дедок — еще не очень старый, —
гостей приветив самоваром
и черным хлебом с молоком,
присел с Зарубкиным рядком...
С почтеньем выпив стопку водки,
сам снял с гвоздя ключи от лодки:
— Ни пуха, — крякнул, — ни пера...
А ночевать — так на сарае
сенцо... Земля, поди, сырая...
— Переночуем у костра!

4

А в пучкасах — душе отрада —
уж разгоралась канонада.
И утки, всей еще беды
не осознав, возле воды
вились... И ясно, в смысле перьев
несли заметные потери.
Тарзан все жался к сапогу
хозяина: он ждал работы.
И с дрожью к запахам болотным
принюхивался на бегу.

5

И воспарил Зарубкин духом:
— Кто ни пера сказал, ни пуха?!
Нет, коль пришла она, пора,
хочу и пуха, и пера! —
Швырнув в корму рюкзак и «пушку»,
извлек откуда-то чекушку
и крикнул, глядя на Жука:
— Через одежку жжет, зараза!
Придется, так сказать, для глаза...
И... чтоб не хлябала рука!

6

Жук побледнел от вида кружки.
Но не посмел-таки нарушить
традицию, допил до дна...
И распахнулась даль, ясна,
пред ним! И он, позвав Тарзана,
шатаясь, в лодке место занял,
глазами ж — все туда, туда,
на пучкаса, где поминутно
взмывали в небо стаи уток,
не стаи даже, а стада.

7

Зарубкин, сплюнув папиросу,
налег решительно на весла,
и лодка через полчаса
уже вплывала в пучкаса.

За лопушистым тихим плесом
она уткнулась в берег носом,
заросший густо камышом.
Жук, через борт ступив неловко,
двухстволку взял на изготовку
и приказал Тарзану: — Пшел!

8

Но пес, приняв за палку «тулку»,
встал, как бывало на прогулках,
пред ним
                    и рявкнул — лапы врозь:
«А ну-ка — бррось! А ну-ка — бррось!»
— Дурак! — Хозяин глянул люто. —
Пошляк! Дворняжка!..
Столько уток
кругом!.. Ну что раззявил рот?! —
И Жук («Ох, зорька-то какая!»),
примером
                    личным
                                    увлекая
собаку,
              ринулся вперед.

9

«Бррось! — пес гремел. — Бррось эту ношу!»
Жук огрызался: — Я те брошу! —
И мчался, загнанно дыша,
по кочкам к кромке камыша.

(А там уже Зарубкин, кстати,
стоял и с пылом
конопатил,
как говорится, небеса...)
Жук отыскал посуше кочку
и первым делом, на цепочку
взяв,
привязал к коряге пса.

10

И, соблюдая маскировку,
он взял ружье на изготовку...
А слева — бах! А справа — бах!
Камыш весь порохом пропах!
Он раз пригнулся, два нагнулся...
Но тут в душе его проснулся
инстинкт: убить! Хоть что-нибудь!
Убить!!! Дыханье даже сперло.
Догнать,
схватить,
вцепиться в горло
и чуть ли крови не лизнуть!

11

А уток было — глянуть жутко —
вот сколько в небе было уток!
Чирки —
такой переполох! —
порою метрах в четырех
неслись со свистом, как снаряды...

И, запаленный, из засады
встречал их Жук заградогнем...
А между тем уже темнело.
Но дичь летела и летела
еще нахальнее, чем днем.

12

И вдруг — о счастье! — снизясь круто,
на воду села пара уток.
И вмиг в их сторону из мглы
метнулись жадные стволы.
Ба-бах! И вот один чирочек
затрепыхался между кочек.
И Жук, войдя, наверно, в раж
(иначе б не решился сроду!),
в тяжелых бродних прыгнул в воду,
не снявши даже патронташ!

13

Когда вода ему до горла
дошла, он вдруг услышал голос
Тарзана. Пес орал вовсю:
«Брось — принесу! Брось — принесу!»
Но Жук, смяв жертву
(«Поздно, брат мой!..»)
в ручищах,
брел уже обратно...

И, счастлив, кажется, вполне,
смеялся, слыша, как с болота
на помощь звал собаку кто-то:
— Ко мне, Тарзанушко, ко мне!

14

Зарубкин —
это он, бедняжка,
вопил: — Ну, где же ты, Тарзашка?!
А ну, ищи! А ну, сюда!.. —
А Жук стоял. Текла вода
с него... И капала с приклада...
Стоял, не отрывая взгляда
от утки, раненной в крыло,
и думал, клацая зубами:
«Вот будет дочери забава!
Вот подвезло — так подвезло!»

15

Размазав ил на подбородке,
вдруг вспомнил он,
что время к лодке
брести... И бедного чирка
упрятал в чрево рюкзака.
Потом взял на руки Тарзана,
шаг сделал, два...
И встал. И замер.
Кругом не просто темнота
была, а чернота. Чернила!

И крикнул он что было силы:
— Зару-убки-ин! Где ты... тра-та-та?!

16

— ...го-го! — ответил кто-то где-то,
с того, подумать можно, света.
И шевельнулась у Жука
под курткой лапа холодка.
Рванулся прямо — топь...
Направо
побрел — по пояс — выше, травы...
Налево сунулся — вода...
А тут еще и дождь закрапал...
И Жук надвинул туже шляпу:
— Занес же черт меня сюда!

17

Ведь пропаду: кругом трясина... —
И на собаку: — Ух ты, псина!
Из-за тебя... А ну-ка, прочь! —
Кто мог сейчас ему помочь?
Зарубкин только... да Всевышний...
Но у Всевышнего давнишний
зуб на него...
И вдруг: — ...ва-ва! —
Вновь донеслось: — ...тебе... на лодке!
— Зару-уб... — Слова застряли в глотке.
И Жук пальнул — и раз и два.

И почему-то Магдалину
вдруг вспомнил... И ее перину,
и свет ночной, и...
— Боже мой!
Попасть бы только мне домой!
Под душ бы встать, сменить одёжку,
прийти в себя бы понемножку...
И никогда бы —
ни во сне,
ни наяву, страшась удара,
не знать подобного кошмара
до самых дней скончанья мне!



ПРИРОДА ЖДЕТ

Все на земле устроено на ять!
Ничто Природа не творила слепо.
— Зачем над твердью распахнула небо она?
— Чтоб птице птицу догонять.
— Зачем, не ставя в грош свои труды,
она так щедро расплескала воду?
— Затем, чтоб рыбам тоже дать свободу
передвигаться в поисках еды.

Но вот она пустила по земле,
гордясь своим уменьем,
человека.
«Тебе, — сказала, — все:
моря и реки,
леса и долы — все тебе,
навеки!
Весь белый свет!
И звезды в том числе!
Бери!
Остри свой разум — и владей!»

И отошла.
И встала за плечами.

...Прошли века.
Счастливая вначале,
теперь глядит Природа на людей
угрюмо... Словно их не узнает.
Глядит, глядит, как будто вопрошает.
Глядит — и что-то, кажется, решает...
А может,
терпеливо
что-то ждет...

1979



СОДЕРЖАНИЕ

2

3

Сергей Васильевич
ВИКУЛОВ

ИЗБРАННОЕ

Стихи

Редактор *В. А. Тепляков*
Художественный редактор *М. П. Тихонов*
Технический редактор *Т. М. Сергеева*
Корректоры *С. И. Крягина, Л. Г. Овчинникова*

ЛР № 030231 от 24.12.96
Сдано в набор 11.01.2000. Подписано в печать 08.08.2000.
Формат 70×100 $^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура Петербург.
Усл. печ. л. 8,9. Уч.-изд. л. 7,2.
Набор, верстка и выпуск осуществлен
издательством «Советский писатель»,
121826, Москва, Поварская, 11
Заказ №27


ISBN 5-265-06195-9
9 785265 061959


Семья
Викуловых